



№ 11 * 1964

საქართველო
ბიბლიოთეკა



ლიტერატურная **Г**рузия

10.335
1964/9

1964/2

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ



литературная Грузия

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ ГРУЗИИ ● ГОД ИЗДАНИЯ ВОСЬМОЙ

СО Д Е Р Ж А Н И Е

СИМОН ЧИКОВАНИ. Из книги лирики. Стихи	3
ОТАР ИОСЕЛИАНИ. Руставские будни	5
НИКОЛАЙ ЧАЧАВА. Весна моей страны. Стихи	30
ГРИГОЛ ЧИКОВАНИ. Тагу. Из «Одишских рассказов»	31
МИХАИЛ КВЛИВИДЗЕ. Ода советским космонавтам. Море. Стихи	36
РЕВАЗ ИНАНИШВИЛИ. Моя любимая тетья. Рассказ	38
АЛЕКСАНДР СЫТИН. Сейнер входит в порт. Рассказ	42
СЕРГО ПХАКАДЗЕ. Дорога и сердце. Рассказ.	45

КРИТИКА

ВАЛЕНТИНА БАЛУАШВИЛИ. О дружбе большой и верной	52
Г. ДЕВДАРИАНИ. Книга об Орджоникидзе	61

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ М. Ю. ЛЕРМОНТОВА

АМБЕРКИ ГАЧЕЧИЛАДЗЕ. Грузинские легенды и «Де- мон» Лермонтова	64
МЕГИ БАРАМИДЗЕ. Илья Чавчавадзе — переводчик Лермонтова	67

ИСКУССТВО

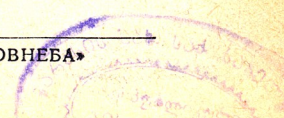
КЕТО БАГРАТИШВИЛИ. В поисках пиросмановских прототипов	71
ГЮЛЬНАРА ДЖАПАРИДЗЕ. Снова о подлинной фами- лии художника	75
Французская пресса о фильме «Белый караван»	78

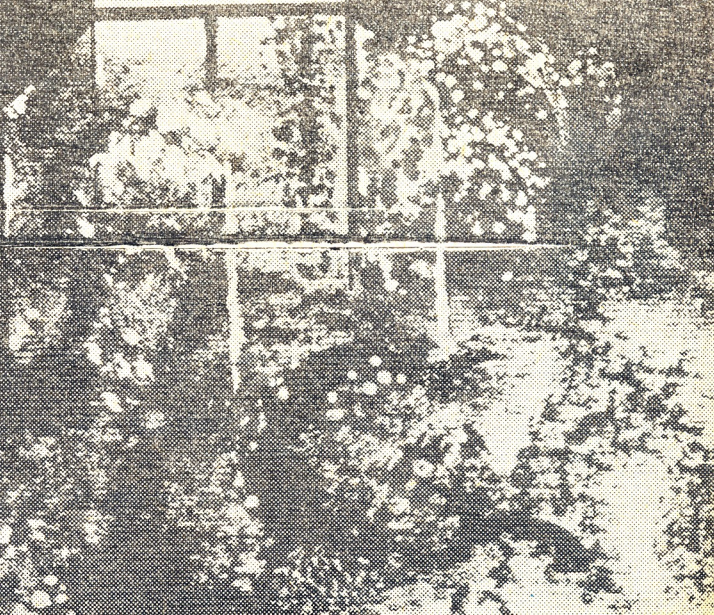
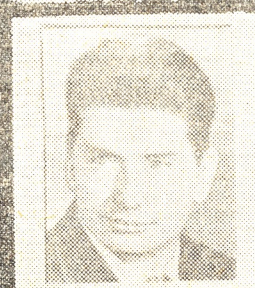
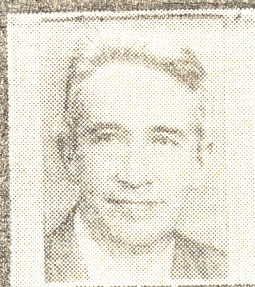
11

НОЯБРЬ

1964

75-137





СИМОН ЧИКОВАНИ

ИЗ КНИГИ ЛИРИКИ

* * *

Две округлых улыбки — Телети и Цхнети,
и Кумиси и Лиси — два чистых зрачка.
О, назвать их опять! И названия эти
затрудняют гортань, как избыток глотка.

Подставляю ладонь под шекотную каплю,
Что усилием всех мышц высекает гора.
Не пора ль мне, прибегнув к алгетскому
камню,
высечь точную мысль красоты и добра?

Тих и женственен мир этих сумерек слабых,
но Кура не вполне обновила волну
и, как дуб затвердев, помнит вспылчи-
вость сабель,
бег верблюжьих копыт, означавший войну.

Этот древний туман так не полон — в
нем стрелы
многих луков пробили глубокий просвет.
Он и я — мы лишь известь, скрепившая
стены
вкруг картлийской столицы на тысячу лет.

С кем сразу же на восходе и с кем на
закате,
чтоб хранить равновесье двух разных
огней:
солнце там, на Мтацминде, луна на
Махате,
совмещенные в небе любовью моей.

Отпиваю мацони, слежу за лесами,
за небесами, за посветлевшей водой.
Уж с Гомборской горы упадет в Исани
первый луч — неумелый, совсем молодой.

Сколько в этих горах я камней пересилил!
Я тесал их и мучил, как слово лепил.
Превозмог и освоил цвет белый и синий.
Теплый воздух и иней равно я любил.

И еще что я выдумал: ветку оливы
я жестоко и нежно привил к миндалю,
поместил ее точно под солнце и ливни.
И все выдумки эти Тбилиси дарю.

* * *

Люблю я старинные эти старания:
сбор винограда в ущелье Атени.
Волов погоняет колхозник Анания,
по ягодам туты ступают их тени.

Пылает оранжевым шея вола!
Рогам золотым его — мир и хвала!
Сквозь них мне безмерная осень видна,
уже виноград претерпел умиранье.
Но он воскресает, с рождением вина,
в младенчестве влаги, что зрела века.
Ведь эта дорога и прежде вела
туда, где хранит свои тайны марани.

Ах, осени этой труды и сияния!
А вон и ореха обширная крона, —
как часто под ней засыпал ты, Анания,
и было лицо твое славно и кротко!

Меж тем вечереет, и в новой длине,
все тени бредут в неживой вышине,
как луны, мерцают волы при луне
и столько добра и усталости в теле.
Как часто все это припомнится мне:
тяжелые скрипы арбы в тишине
и, в мирном и медленном лунном огне,
Анания, и волы, и Атени...



Некогда Амирани, рассердившись,
разбил вдребезги глиняную чашу, но
осколки ее, желая соединиться, с шумом
и звоном улетели в небо.

Из народного сказания

... И ныне помню этот самолет
и смею молвить: нет, я не был смелым.
Я не владел своим лицом и телом.
Бежал я долго, но устал и лег.

Нет, не имел я твердости колен,
чтоб снова встать. Пустой и одинокий,
я все лежал, покуда взрыв высокий
землей чернел и пламенем алел.

Во мне скрестились холод и жара.
Свистел пропеллер смерти одичавшей.
И стал я грубой, маленькою чашей,
исполненною жизни и добра.

Как он желал свести меня на нет,
разбить меня, как глиняную цельность,
своим смертельным острием прицелясь
в непрочный и таинственный предмет.

И вспомнил я: в былые времена,
глупец, мудрец, я счастлив был так часто.

А вот теперь я — лишь пустяк, лишь чаша.
И хрупкость чаши стала мне смешна.

Что оставалось делать мне? Вот-вот
я золотыми дребезгами гряну,
предамся я вселенскому туману,
на искру увеличив небосвод.

Пусть так и будет. Ночью, как-нибудь,
мелькну звездой возле созвездья Девы.
Печальные меня проводят дэвы
в мой Млечный и уже последний путь.

Разрозненность сиротская моя
воспрянет вдруг, в зарю соединяясь.
И, может быть, я все ж вернусь, как аист,
на милый зов родимого жилья.

Земля моя, всегда меня хранит
твоя любовь. И все-таки — ответствуй:
кто выручит меня из мглы отвесной
и ответы души соединит?

Перевод с грузинского Б. Ахмадулиной

Отар ИОСЕЛИАНИ

Руставские будни

Из блокнота кинорежиссера

Сегодня 24 мая 19... года; еду в город Рустави на металлургический завод. Хочу поработать, как работают все рабочие и собрать материал для сценария.

В детстве в нас вызывает удивление и восторг каждый факт, с которым мы сталкиваемся, мы бываем взволнованны и очарованы каждым новым нашим открытием в мире, неведомом и загадочном. Когда мы становимся взрослыми, нам приходится жить и жить в определенной, изученной с детства среде. Мир наш замыкается этой средой, и даже зреет в нас уверенность, что за границами этого нашего мира ничего, существенно отличного от того, к чему мы привыкли, не происходит: среда читающих и грамотно изъясняющихся людей, в которой мы живем, приучила нас к своим законам, мы плаваем, как рыбы, в узком аквариуме наших интересов; изредка глядя через стеклянные стены, мы уже не имеем никакого желания познавать происходящее снаружи; у нас, как у рыб, выработалось отношение к происходящему вне нашей среды как к декорации, присутствующей при нашей аквариумной «настоящей» жизни.

Еду в Рустави, стараюсь освободиться от всякой предвзятости в отношении к тому, что ожидает меня. Еду, оставив в Тбилиси друзей моих, бесчисленное множество споров, проникновенных тостов, тонкого остроумия, повседневных, только нас волнующих новостей.

Рустави — чистый, тихий город. Я поселился в гостинице и пошел устраиваться на работу.

Отдел кадров. Многолюдная очередь — лето, и многие просят расчета — это крестьяне, которые живут в близлежащих деревнях. В деревне домик, огородик, садик, веселые беседы в тенечке, запах печеного хлеба, фрукты. А здесь, на заводе, пахнет серой, углекислым газом. Дым, пыль, копоть, грохот, жара.

Я стою в очереди. Очереди, собственно, нет — просто толкучка. Рассуждения о том, что сейчас невыгодно работать, что работа тяжелая, а в деревне нужно рыть колодец, ремонтировать кровлю...

Меня направили в «Мартен».



Боже мой, какая красота! Печи раскалены, гудят, из щелей рвется пламя, под потолком с грохотом движутся краны — перевозят огромные ковши с металлом. Кругом звон, шипенье, свистки, женские голоса репродукторам — музыка! Люди крепкие, спокойные, в ладно пригнанных войлочных бушлатах. Здравуются вежливо, смотрят серьезно; знакомятся.

Буду носить синие очки на козырьке и сыпать лопатой в печь всякие нужные для стали песочки; сыпать ловко и быстро, прикрываясь локтем, чтоб не обжечь лицо.

Доменная печь. Золотые ручьи чугуна на черном полу текут стремительно, падают в ковш, поднимают фонтаны светящихся искр над бункером.

Мамука Миндели удивленно глянул на меня, прочел направление и опять глянул. Я выпятил грудь, расставил ноги и напрягся в плечах, но все равно, видно, не внушал доверия.

У Миндели красные, воспаленные глаза, опухшее молодое лицо, кажется, он только с постели и не выпался.

— Что они, угробить хотят человека? — он провел рукой по лицу, как бы сгоняя сон, еще раз внимательно осмотрел меня сверху донизу и сказал твердо: — Нет.

Я с жаром его убеждал, говорил, что буду очень стараться, что ему только кажется, что я не справлюсь. Наконец ему надоело; для очистки совести он посмотрел мою медкарточку, пожал плечами, подписал.

Я пошел не то к плотнику, не то к столяру попросить его сколотить мне колодки из железа и рогажи на деревянной подошве — чтоб не жгло ступни при ходьбе по шлаковым канавам. Пока столяр делал колодки, я попросил его одолжить мне на время гвоздодер — мне нужно было открыть заколоченный кем-то шкафчик, чтоб сложить в нем спецовку.

— На вынос я не даю, — сказал плотник. Я положил на доски мою кепку и знаком спросил у него согласия на такую гарантию. Плотник кивнул головой.

Я запер свою спецовку под замок и пошел шататься по заводу — мой завод!

* * *

Лежу пластом. Голова гудит, руки ломают в суставах, в ушах свист, болит поясница — все тело ноет, как побитое.

Сегодня в 10 часов вышел из печи мой первый чугун. Мастер долго и почему-то ласково разъяснял мне всякие правила и порядки. Я время от времени кивал головой, слушал серьезно и задавал вопросы.

С помощью лома и лопаты мы чистили канаву для шлака длиной около сорока метров. Печь только-только запущена после капитального ремонта и поэтому работает плохо — слой горячего твердого шлака очень толстый, и мне, когда я ковырял его ломом, просто не представлялось возможным справиться с такой толщей, однако втроем справились. Когда было очень тяжело — подцепляли крюком и тащили краном. Гиви говорил, что новая печь — как новые ботинки, что скоро она работает нормально и трудиться столько не придется. Маленький, юркий горновой тоже все спрашивал, не очень ли я устал, и тоже успокаивал.

Я бодро улыбался, махал рукой — ерунда, мол, — и думал о том, что «устал» не то слово. Лопата валилась у меня из рук, ноги подвора-



чивались, горячий пот катился с меня градом, но было то жарко, то холодно, вдобавок ко всему я больно прищемил палец. «Эта работа просто не для меня, — думал я, перетаскивая трехпудовые куски шлака, — у меня и кости тонкие, и руки какие-то совсем для этого неподходящие, я сам, конечно, проситься не буду, но ведь пройдет этот день, они же думают, посмотрят и уволят меня. Ведь есть же на заводе работа немного легче, почему я полез на самую для меня невозможную?» Думы эти я заливал холодной водой из колонки, затем погружал куски шлака в ящики, прицеплял ящик к крану, кричал «вира», махал рукой вверх и смотрел, как бы что-нибудь не свалилось мне на голову.

Я прорыл все-таки мою канаву, мы втроем усыпали ее белым песком, утрамбовали, сделали в трех местах мастичные перегородки и вышли покурить.

Печь пронзительно свистела, два человека возились, перетаскивая что-то в пару. А на дворе шел мирный дождь.

Мы курили.

Я смотрел на дождь, стряхивал пепел с моей сигареты, смотрел на ее огонек и ни о чем не думал.

Внизу проехал паровоз.

Мы сидели на лавочке, скинув с ног деревянные колодки. Я не знаю еще, как зовут каждого из них: первый с краю — низенький, юркий, ходит чуть наклонившись вперед, выпрямив спину, руками он не размахивает — они у него как-то настороженно вытянуты книзу — наготове. Второй от меня — почти тощий с большими руками; сидит, слегка прищурив глаз, и смотрит в одну точку. Во время работы, кончив одно дело, он уходит далеко, вглубь цеха, застывает там и некоторое время о чем-то думает. Придумав, он стремительно срывается с места и тащит уже какой-нибудь лом или лопату с песком. Еще дальше от меня сидит старший горновой — ему лет сорок, он весь какой-то домашний, мягкий, очень деятельный, но не суетливый; глаза у него черные, совсем черные, с искорками и вопрошающие.

Есть еще один, он возится сейчас у горна, у него стальные зубы. С первого же часа работы он все упрекает меня в чем-то, но не словами, слов здесь не слышно из-за шума, жестами, лицом и особенно, мне кажется, стальными своими зубами.

Сидим мы все четверо и курим. Ночь уже. Рядом из диспетчерской вышел мастер, постоял около нас и ушел. Старший горновой сплюнул, нацепил рукавицы, вздохнул, потушил сигарету, сунул ноги в колодки, крикнул и пошел к горну. Мы последовали за ним — все разом смешно застучали тяжелыми колодками по железному кованому настилу.

Все стали по своим местам, я — у моей шлаковой канавы.

Началось священнодействие.

Отверстие, откуда должен потечь чугун, сперва бурят, затем пробивают, жгут кислородом — оно долго и упорно не поддается и вдруг! С львиным, совершенно точно, с львиным ревом вырвалось из-под бура пламя. Искры, дым, все отбегают, вытягивают шеи. Течет! Течет по нашим канавам, течет торжественно и лениво, стекает ниже, заполняет воронку, ползет дальше — к стоку и с высоты, золотистый, почти белый, гулко падает в ковш. «Чугун. Чугун. Чугун.», — твержу я про себя и волнуясь.

Мастер стоит на мостике, смотрит на чугун, прикрыв лицо локтем, кричит что-то, машет руками. Мы бежим куда-то, я не знаю, да, к заслонке, — поднимаем заслонку, жар ужасный, лицо горит, а мастер все машет рукой — песок! Все четверо кидаемся к лопатам, сыплем песок, подбегая к огненной канаве по очереди. Чугун течет жидкий, с вол-

нами, с завихрениями, как ручей с горы. Все успокоились, воткнули лопаты в песок и сели.

Пошел шлак — с тысячами огненных язычков. Наполнили шлаком два ковша, паровоз загудел, ковши уехали, воронку заткнули глиной, выпили воду, постояли у вентилятора, остыли, сняли рукавицы, осмотрелись — кончилась смена.

Я очень устал, но пока еще не чувствую всей меры своей усталости. Доменщики моются в душевой. Весело гогочут, толкаются или молча вдруг застывают под струей воды, стоят, тяжело опустив руки, с наслаждением ощущая, как течет теплая ласковая вода меж лопаток, стекает по спине.

Я быстро насухо обтерся полотенцем, сложил спецовку в шкафчик, почувствовал себя чистым и, весело насвистывая, отправился в медпункт перевязывать палец.

Дождь кончился, на небе звезды, из большой тэцовской трубы клубится белый дым. От доменного цеха до проходной около двух километров, от проходной до гостиницы столько же. В половине второго сторож открыл мне дверь, я, еле волоча ноги, поднялся в свой номер, аккуратно перевесил брюки через спинку кровати, накрылся одеялом и, привыкший к бессоннице, собрался читать, но вдруг раздумал, отложил книжку и заснул.

Никаких снов, никаких сновидений — просто: утро, и — ох, как болят руки!

* * *

Так лень идти на работу, тело все еще ноет, в ушах стоит звон — так лень! А уже время. Чем дальше я иду по улице, тем больше народу идет в одну со мной сторону, вхожу на завод — уже мощным потоком идут рабочие, идут молча и быстро; в раздевалке все здороваются, шумят замками, хлопают дверцами, переодеваются, я даже забыл о своей лени, только когда поднялся в цех, меня передернуло — все снова: свист, жара, лопата...

Кстати, о лопате. Она широкая, длинная, вмещает около пуда песку или шлака, удержать ее очень трудно, лопата то и дело переворачивается, песок сыплется весь на пол, все неодобрительно качают головой, мне стыдно, и я напрягаюсь из последних сил, стараясь удержать ее горизонтально. Кроме того, что она тяжелая и выворачивается в руках, ею надо метать шлак в специальные коробки для отходов, а коробки стоят далеко. Я размахиваюсь — мимо! Приходится подбирать рассыпанный шлак с пола. Все меня учат по очереди, как ее удержать, как метать, как наполнять, и удивляются: ты что, никогда не работал?! Пораженные, сокрушенно смотрят на мои тонкие руки. Но раздумывать некогда, время идет, работы много: давай! Хорошо ли, худо ли, а я в конце концов справляюсь. Изредка они приходят взглянуть на мою работу и, успокоенные, продолжают работать дальше. Все в порядке, но чего это мне стоит! Я трачу энергии в пять раз больше, чем остальные. Но что удивительно: чем больше устаешь — тем бодрее и веселее себя чувствуешь, а когда, сделав дело, сидишь на лавочке, выпрямив спину, касаясь плечами холодной железной перекладки — испытываешь ни с чем не сравнимое удовлетворение, почти блаженство.

Деревянные колодки. Это тоже невесть какая удобная штука: они тяжелые, неуклюжие, ноги в них болтаются и подворачиваются. Сегодня я позорнейшим образом растянулся и больно ударился локтем о же-

лезо. Ило, Шота и Резо оставили лопаты, молча уставились на меня, у меня хватало наглости бодро, как ни в чем не бывало векочить и с серье-езнейшим видом продолжать свое дело.

Шлак сегодня потоньше, я один расчистил всю канаву, а когда пошел металл, сам отлил пробы и отнес их в лабораторию.

Когда закрыли печь, мне нужно было полить холодной водой канавы, чтобы они остыли. Повалил пар. Горячий, густой — ничего уже невозможно различить. Слышу крики — «Э-э!» А я все лью и лью наугад. Подбегает кто-то разъяренный: весь мокрый, злой, кричит, размахивает кулаками, а я блаженно улыбаюсь — ничего не слышу. Шлак трещит, мы стоим в пару, все исчезло: печь и канавы — весь цех — только мы вдвоем; что он кричит? Гиви закрыл кран, вода не льется уже, пар отлетел. Три человека стоят внизу подо мной, смотрят, мокрые с головы до пят, удивленные, даже не злятся, бессильные перед моей тупостью и наивностью: «если бы ты не был новеньким...» Если б я не был новеньким, это была бы не оплошность, а намеренная злая шутка. Махнули рукой, пошли отжимать свои мокрые брюки. Мне смешно и досадно. Кстати, одна чрезвычайно важная деталь — я здесь ни разу, ни от кого не слышал бранного слова. Разговаривают все просто и вежливо.

Ни секунды отдыха — к бункеру подъехал состав с песком: Шота — на кран, я — вниз; майна! вира!

Тяжелые крюки, такие тяжелые, что я их еле поднимаю. Крюки надо продевать в ушки больших ящиков; потом я отбегаю — ящики уходят вверх и возвращаются пустыми — нужно их развернуть и поставить ровноенько на платформу.

Меня научили управлять краном. Это длинная ферма от стены до стены движется под крышей над всем горновым хозяйством, поперек фермы ездит кабина с крюками, крюки опускаются поворотом ручки, работа скучная.

... И опять чугуи. Красный дым взлетает над канавами, когда пробиваешь перегородки из мастики. Это очень красиво: люди с ломанами и крюками в широкополых шляпах, а за ними черный гудящий дым, который вдруг становится красным и с ревом взлетает ввысь.

* * *

Четыре дня мы работаем по восемь часов без перерыва, затем два дня отдыхаем. Без перерыва мы работаем оттого, что печь работает тоже не останавливаясь. Четыре смены утром, четыре смены вечером, четыре смены ночью и снова утром.

Очень трудно писать и думать после работы. Трудно потому, что устаешь и немного тупеешь за день. Все силы душевные, не говоря о физических, уходят у меня на шлаковую канаву. Сколько забот! Во-первых: мы уже перешли на два выпуска в смену — работы стало вдвое больше, во-вторых: чем дольше я работаю, тем больше возлагается на меня дел и ответственности: старший горновой поучил, поучил меня и уже совсем не заботится, верно ли я все делаю. А когда я допущу оплошность — он кричит, по всем правилам кричит, как и полагается в таких случаях.

Сначала несколько дней меня опекал третий горновой — Валико, но, слава богу, он уже давно не выходит на работу. Слава богу — потому что если нужно куда-нибудь далеко перетащить баллон с кислородом — невероятная тяжесть, — Валико хватает баллон с переднего конца, где удобно его схватить, а меня посылает взяться за другой конец,

за доньшко. Так ему легко и удобно — он идет не останавливаясь, а я спотыкаюсь, дороги не видно, держать неудобно — иду и поскрипываю зубами. Следующий раз я первый бегу к баллону и хватаю его уже с выгодной для меня стороны — за горлышко. Валико властно, на правах старшего, улыбается и посылает меня взяться опять за днище. Улыбается он своими стальными зубами весьма добродушно, но мне почему-то противно. Уже давно он не появляется, нас четверо сейчас в бригаде. Резо, Гиви и Ило морщатся, когда разговор заходит о нем, и мне стало спокойно, что я не ошибся в этой своей антипатии. Нас четверо — уже вся шлаковая канава на мне, и я получил повышение — седьмой разряд, вместо шестого.

В начале работы я принимаю смену: смотрю, чтоб канава и выходные носки были очищены от шлака, чтоб была устансвлена первая отсечная лопата, чтоб на паровозных путях не было пролитого шлака, после этого засыпаю канаву белым песком, трамбуя его, кричу машинисту, как правильно установить ковши на путях под нами, устанавливаю перевалы и остальные отсечные лопаты, направляю предварительный шлак, заполняю три ковша, снова чищу желоб и готовлю его уже к основному шлаковому потоку, к выпуску. Идет чугуи, беру пробы, весь мокрый, пробиваю скопления шлака ломом, отрываю лопаты одну за другой, ковши наполняются, слежу, чтобы не переполнились, кричу, свисту, бегаю, сыплю песок, бросаю глину в канаву большими комьями, наконец Резо закрывает летку — все! Отношу пробы в лабораторию, выхожу во двор — все уже сидят на лавочках, нежатся. Я тоже сажусь, скидываю боты — предстоит погрузить мусор в контейнер и переделать всю работу заново.

Когда я усталый иду по улице, неся свою бутылку молока и хлеб, я особенно придирчиво почему-то приглядываюсь к людям: этот не работает, тот тоже, этот работает — лицо утомленное, а вот этот розовый, самодовольный, с ленью в глазах — бездельник. Особенно меня стали раздражать бездельники. К сожалению, я только сейчас заметил, как их много, то есть я знал, видел это и раньше, но сейчас ощутил, именно как-то ощутил пребывание их на нашем свете. Бездельники перед лицом твоей усталости нагло демонстрируют несправедливость, в силу которой они существуют. Они не вызывают злобы, а рождают во мне неясное ощущение бессилия что-либо им объяснить, жалость какая-то к ним и к себе.

Есть лишь внешнее противоречие между написанным выше и тем, что я сейчас подумал. А подумал я вот что: полнота ощущения жизни, ощущение красоты и радости, равно как и глубокое общение с живым духом живого человека, чувство близости между людьми, ощущение духовной общности с любым человеком (тут важно, что именно с любым, с каждым) возможно лишь тогда, когда кончилась работа, когда сидишь ты рядом с ним, сложив на коленях усталые руки.

Пока мы работаем рядом, без слов помогаем или мешаем друг другу, я могу только угадывать, да и то угадывать лишь черты характера моего товарища. И когда мы перестаем делать что-то руками, только тогда, в минуты покоя, наступает время прозрения. Человека начинаешь познавать главным образом в мечте его, в грусти, в раздумьях — так же и мир наш познаем мы в воспоминаниях наших.

Подготовив все для плавки, мы уселись на лавочках и стали завтракать. Каждый достал свой сверток, я принес холодной воды. Резо сел по-турецки на пол, очистил головку чеснока, раздал нам по зубцу,

и мы молча принялись за еду. Покушали, завернули остатки хлеба и сыра в газеты, отряхнули крошки, заговорили.

Водопроводчик Дата, пока мы болтали, читал по складам, по-детски шевеля губами, то, что было написано на уголке газеты, в которую он завернул хлеб; и вдруг протянул мне газету: «Это, наверно, тебе интересно».

«Совсем мне не интересно», — ответил я. Это был календарный план футбольных встреч.

— Ты не болельщик?

— Нет, а ты?

В ответ Дата выразительно махнул рукой, такой же пренебрежительный жест сделал Гиви, а Резо спросил лукаво:

— А почему ты не болельщик?

Я пожал плечами.

— Некогда! — заволновался Ило и гневно уставился на меня своими черными глазами — 1 : 0 или 0 : 1, «Динамо» или «Спартак»! Ты устал сегодня? Устал. И он устал, и он, и он! Вот мой футбол, — он махнул рукой в сторону печи, — я здесь каждый день играю!

Мне очень запомнилось то, что он сказал, и я записал это слово в слово. Мне запомнилось, как сказав это, он улыбнулся и вытер тыльной стороной рукава выступившие на лбу капельки пота. Шота иронически воспринял выпад второго горнового, подмигнул мне, потянулся, встал и ушел к фурмам.

Действительно, мне вдруг показалось странным и смешным, что кто-то, да не кто-то, а тысячи людей могут спорить сейчас до иступления о серьезных проблемах большого футбола, жить от матча к матчу, волноваться мнимым волнением и мчаться в день встречи на стадион и всю неделю бегать по знакомым в поисках билета, а билеты будут раздавать в учреждениях.

НВ! ГЕРОЮ НАШЕГО СЦЕНАРИЯ

...Смотри, это отец твой и мать, в труде, в поте лица своего растившие тебя. Посмотри на их руки и на лица, загляни им в глаза. Как они устали!

Всю жизнь свою, после того как прошла их молодость, возможно, такая же беспечная и отуманенная грезами, как твоя, они посвятили трудам и заботам о тебе. Ты их мечта, воплощение всех перенесенных тягот и невзгод, надежда их — в продолжении рода своего отыскать гармонию, вселить в душу твою все хорошее и доброе, случайно или нечаянно упущенное и растерянное ими в начале жизни; с начала твоей жизни надежда и волнение управляли всеми их помыслами и поступками.

Как любят они тебя, как радуются каждой твоей ласке, каждой твоей радости, как страдают и как не замечают оплошностей твоих, как безмолвно, с печалью переносят твое невнимание. Как далеки и чужды они тебе! Ты принимаешь за должное ласку и любовь, и заботы. Ты даже отмахиваешься от них, как от чего-то надоевшего и назойливого. Ты видишь в отце и матери своей одну старомодность, ты холоден и нетерпим, придиричив, даже язвительен. Очнись, профутболив и профокстротив юность со сверстниками своими, пора понять, кто и что окружает и лигтает твою душу. Загляни в глаза товарищам твоим и подругам, не думай, что общность интересов выпить бутылку коньяку, общность стра-

тей футбольных, общность томного танца — есть общность наших душ. Загляни в глаза родителям своим, поддержи в руках своих их натруженные руки — до сего дня это были руки, гладящие тебе сорочки и брички, пришивающие пуговицы, накрывающие на стол, руки, дающие деньги на твои развлечения. Они уже стары, эти глаза, с надеждой ловящие каждое твое движение, печальные глаза людей, которых не замечает их сын.

Нельзя сказать, что ты их не любишь, но по-человечески ты их не замечаешь. Торопись, — старые, они скоро умрут, и ты останешься в окружении людей, с которыми можно говорить о футболе и танцевать. Тебе захочется плакать — это были люди, на грудь к которым ты мог положить голову и выплакаться. Жизнь — не танцевальный вечер. Это труд и заботы. Борьба, победы и иногда грусть по невозвратно упущенным минутам, по растроченным силам и возможностям.

Вот будущая твоя супруга. Не спяну и не в приливе чувственности суждено тебе ее избрать. Это твой верный товарищ, ты научишься любить ее и заботиться о ней, ты научишься ценить ее терпение и усталость.

А это — твои дети, твое волнение, мечта и еще и еще раз заботы. Ты познаешь радость и горечь — это твои дети, — ты познаешь, что значит отцовская любовь, как важно серьезно учить их жизни, ты познаешь, может быть, жестокую детскую неблагодарность.

Вот отец твой и мать, подойди к ним. Это не стыдно...

* * *

Гиви влюблен. Сегодня мы вышли в утреннюю смену, и я обнаружил, что Гиви влюблен.

В утреннюю смену нам полагается крановщица. Прицеплять ящики к крану — моя обязанность, поэтому я удивился, когда обнаружил, что все почти ящики уже опорожнены — Гиви полчаса занимался этим скучным делом. Глянул вверх — в кабине крана, между погнутыми рамами — девичье лицо, милое и серьезное, то появится, то исчезнет, голова повязана серым платочком. Гиви сухо и сосредоточенно жестикулирует: левее, правее, стоп, ниже, выше. Девушка послушно двигает кран влево, вправо, останавливает его, опускает крюки, звонит, ждет. Гиви кричит мне и второму горновому — мы начинаем сметать в кучи мусор в разных углах цеха, он цепляет к крану хватающий контейнер, загребает мусор — пыль поднимается невероятная, все чихают. Нашей смене вовсе не полагается сгребать мусор, вовсе не полагается грузить буровые карандаши, не полагается очищать все ящики со шлаком. Гиви явно влюблен. Он измучился, весь потный, черный от графитной пыли, мучает и нас. Пыль сыплется из контейнера, черным туманом окутывает весь цех. Девушка на кране тоже чихает от пыли.

Все убрано. Крюк в насмешливом ожидании мерно раскачивается перед Гиви. Гиви обмахивается шапкой, смотрит, что бы еще подцепить. Резо, Ило, Давид и я стоим, опершись на лопаты, и ждем. Все убрано!

Крюк поплыл вверх, кабина уехала к дальней стенке.

Девушку зовут Маквала.

Она спустилась с крана неторопливо, постукивая ботинками по железным ступеням, прошла мимо нас и поздоровалась. Глаза у нее зеленые. Она чуть-чуть полновата, но в общем девушка ничего. Прошла, уселась на лавочке; серьезная — ни разу не улыбнулась, уселась и стала болтать ножкой.

Бог с ней, пора за дело. Каждый раз, перед тем как приняться за дело, я иду пить воду — для вдохновения.

Вода у нас находится за печью, вода трех сортов — теплая из колонки, очень холодная из бака со льдом и газированная.

В день я пью литров шесть.

* * *

Работы было много — Ило пустил ко мне в канаву весь свой предварительный шлак, открыл три носка, заполнил три ковша, а до выпуска оставалось минут двадцать — нужно было все расчистить и привести в порядок. Я кидал раскаленное, не успевшее еще остыть содержимое канавы в ящики, задыхался в серном дыму и кашлял. Не успел кончить — пошел чугун. Стало еще жарче, пришлось одеть войлочный бушлат и шляпу, вдобавок ко всему шлак скопился в первой канаве и пришлось разбивать его ложкой, протыкать корку длинной тяжелой пикой, перебегать раскаленные мостики, близко подбегать к самому жару, много раз подкидывать к краю канавы сырую глину — чтоб шлак не вытек на площадку, и наконец я умудрился, протыкая загородку, разрушить перегородку — ковш стал переполняться. Резо неистовствовал. Ило метался от барьера к барьеру и тоже кричал, я пытался глиной восстановить перевал — летели огненные брызги, рукавица моя обуглилась, искры попали на руку — но все обошлось. Шлак не пролился, летку закрыли — я услышал шум поворотного механизма глиняной пушки и сразу как то весь обмяк, — слава богу!

Я скинул бушлат, бросил шляпу и пошел пить воду. Выпив стаканов пять, я уступил место Гиви. Гиви тоже выпил пять-шесть стаканов, в очереди стояли Ило и Резо. Мы пошли к вентиляторам, включили их, вентиляторы заревели, поднялся ветер, сильный ветер. Под таким ветром пот высыхает очень быстро.

Холодная струя воздуха бьет нам в спину, в лицо, в грудь — четыре человека стоят изогнувшись, неподвижно в фантастичнейших позах — руки у всех воздеты к небесам, безвольно и тяжело повисли на пальцах рукавицы, головы спущены, поворачиваемся медленно и томно. Ветер. Надуваются, полощутся, бьются наши рубахи на ветру. В таких позах мы похожи на святых каких-то мучеников. Смотрю и радуюсь. Сильные все, крепкие, с каждого можно писать святого Себастиана. Мы наслаждаемся нашей усталостью и бездействием. Вообще, самые красивые, вдохновенные и даже какие-то трогательные минуты — после труда, минуты осознания сделанного, гордости, ощущения силы — мы говорим мало, коротко, понимаем друг друга с полуслова, сердца наши полны заботы и нежности друг к другу. Гиви ласково и влюбленно смотрит мне в глаза, я смотрю на Резо. Это единство пролитого пота и для всех одинаково тяжелой работы, нам с Резо кажется смешной наша недавняя ссора из-за перегородки, и мы улыбаемся; а Ило спрашивает меня: «Как дела, Отар?» Он всегда меня спрашивает о каких-то делах, и я всегда знаю, что это значит, — это значит, что мы молодцы и что впереди еще много работы, и не опустили ли у меня руки, не сломался ли я? «Как дела, Отар?» — иногда, когда печь очень шумит, он спрашивает меня одним лишь жестом, без слов, выразительным жестом крестьянина; в ответ я вытягиваю вверх большой палец — «Хорошо!».

Русико и Тина — сидят, ждут меня в лаборатории. Иду и нарочно громко стучу колотками по железному настилу, спускаюсь медленно,

дышу свежим воздухом и с удовольствием думаю, что жизнь вне горна идет своим чередом; что через три часа кончится смена, и я буду свободен; бросаю пробы на деревянный стол. Кроме чугуна я приношу еще шлак — отдельно на куске глины, — бросаю шлак на стол — размахиваюсь, и сырая глина приклеивается к стене. Так делаю почти каждый раз, и если глина не приклеится — у меня задумано, — значит, работы будет много.

— Здравствуйте.

— Здравствуй, садись.

Русико и Тина все время что-то жуют. Жуют и ждут, когда я им принесу пробы, когда я приношу пробы, они перестают жевать, молча смотрят на меня, качают головами, вздыхают — сочувствуют.

Я сижу грязный, черный, чувствую, какой я работага, сижу на чистом стуле в светленькой уютной лаборатории и смакую всю пикантность и прелесть контраста.

Русико и Тина все жалеют меня, спрашивают, много ли работы, хорошо ли шел выпуск, я пью еще два стакана воды, отвечаю бодро, шучу весело и глупо.

— До свидания.

Они провожают меня грустным взглядом. Я ухожу неожиданно и всегда уношу с собой такое ощущение, будто обе — Русико и Тина — что-то хотели сказать мне важное, но не успели.

Какая радость, когда выпуск хороший! Было много чугуна, чугун уже не литейный, а мартеновский. Это значит, что печь заработала в полную силу, разогрелась. После литейного чугуна шел тяжелый густой шлак с язычками огня по поверхности, а сейчас полился быстрый, гладкий. Чугун тоже выглядит иначе — он совсем белый. Над канавами, когда он течет, целый фейерверк легких искорок. Заткнули летку — я обошел мои желоба — шлаку мало, тонким слоем лежит на доньшке.

С работой для сдачи смены я справляюсь быстро, но все же не так, как все остальные — они уже прохладжались на лавочке, закусывали. Гиви: У тебя работы на пять минут — а ты возишься полчаса.

Ило: Пусть привыкает.

Резо: Опять ты тычешь лопату десять раз в одно место.

Дата: Быстро надо работать, поддавай ее коленкой.

И вдруг сказал совсем неожиданно, обращаясь ко всем сразу, сказал, задумчиво уставившись в пол:

— Когда я начинал, у меня все руки болели, я спал весь день; так мне было трудно, так я уставал, что кушать не мог. Руки, пальцы, спина — месяца три болели. Привыкнет. Я был здоровее него. — Посмотрел на меня и добавил: — Намного здоровее, — и вздохнул: — это дело очень тяжелое для тебя, неужели не могли дать другую работу, разве можно такими руками... — Дата осторожно потрогал мои пальцы, перебрал их на своей шершавой ладони.

Мне стало стыдно за свои руки, стыдно за то, что мне забавно наблюдать себя в роли горногого, а Дата воспринимает меня всерьез, думает о жизни моей, об усталости.

Возможно, я смутился или покраснел, наверно, потому, что Резо вдруг сделал мне комплимент:

— Ничего, привыкнешь, это не очень трудно, когда привыкнешь. Я пятнадцать лет работаю, и то устаю. Свое дело ты делаешь; хорошо, что делаешь и стараешься. Долго? А что вы хотите, человек первый раз взял лопату в руки, устает, конечно, не умеет еще. Ты коленкой, колен-

кой, не надо все руками; ничего, научись. Если б вы, — он обратился к Гиви, — так уставали, как он, — вы бы умерли.

Сразу как-то я успокоился. Я понял: Ило подбадривающий, поучающий, ловкий и сноровистый. Резо веселый, вспыльчивый и отходчивый. Гиви — нервный и мечтательный. Дата — заботливый, молчаливый и усталый, — товарищи мои, и никакой тут нет игры, все это всерьез — жизнь.

Уже несколько лет я очень остро ощущаю каждое мое сегодня, ценность каждого момента в нашей жизни: всякое «сейчас» уходит потом в воспоминания и не возвращается уже никогда. И сейчас моя работа, и сегодня этот доменный цех — это тоже станет воспоминанием, одним из самых, быть может, хороших, и эти товарищи мои будут уже со мной все время.

Пишу я это и думаю: может не верно, что я пишу все о себе? Может, это не называется «собираением материала»? Но можно ли со стороны описывать людей и события, так, как будешь тебя и вовсе нет?

Каждое произведение искусства, кроме всего прочего — это страница, написанная нами о своей жизни среди людей. И каждое поколение, учась жить, перелистывает книгу искусства, каждая страница в которой — это жизнь художника. И художники записывают в этой своей странице слово благодарности ко всем людям, которые любили их и которых любили они в своей жизни.

* * *

У моей войлочной шляпы непомерно широкие поля. Они то задираются, то падают на глаза, мешают работать.

Гиви повертел в руках мою шляпу, сложил ее и протянул Ило, тот вынул из кармана перочинный нож, они натянули войлок, и Ило обрезал поля наполовину. Гиви торжественно нацепил мне шляпу на голову: «вот теперь ты горновой». Дата встал и вышел. Вернулся он с кепкой, с порванной, грязной, обожженной кепкой в руках: «на, носи!» Кепка мне была очень кстати: когда не нужно прятать лицо от искр — не нужна и войлочная шляпа, но работать совсем без головного убора нельзя — пыль. Я очень обрадовался кепке.

Резо, как всегда, раздал нам по дольке чесноку.

Как-то неладно начался сегодняшний день: я не заметил, как подвезли шлаковые ковши, а когда заметил — было поздно: паровоз уехал. Каждый раз, когда подвозят ковши, нужно быть начеку и зорко следить, чтобы ковши стали на место, иначе машинист расставит их как попало, и когда польется шлак, ковш может оказаться в стороне от носка, и произойдет ужасное: весь шлак прольется мимо ковша, прямо на рельсы.

Я засуетился, позвал мастера, мастер вызвал паровоз, паровоз, наконец, приехал, мы с машинистом стали кричать друг на друга: он — снизу, я — сверху. Злые и разгоряченные, принялись устанавливать ковши. Я кричу «вперед» — он едет назад, «назад» — едет вперед. Голос у меня срывается, я пытаюсь свистеть. Не умею свистеть. Тьфу ты черт! Как плохо, когда человек не умеет свистеть. Заложить два пальца в рот и резко свистнуть здесь, в шуме и грохоте, это единственная возможность обратить на себя внимание. Я пробовал несколько раз — ничего не получается. Дую, дую, фырчу, а свиста нет. Весь мой опыт в этой области — между прочим насвистывать несложные мелодии или,

в случае необходимости, небрежно, тихим свистом, окликать и останавливать такси.

Ковши кое-как установили. Но уже пошел чугу́н, а я еще не успел поставить мастичные перевалы. Тороплюсь, бегу за песком, бегом несу полные лопаты, спотыкаюсь, песок рассыпается: каждый перевал — четыре, пять лопат песку и две лопаты мастики. Пошел шлак, я не успел одеть войлочные брюки и куртку. Шлак идет хороший — жидкий, белый, под большим напором; скапливается, обрастает коркой — корку ломаю короткой пикой, длинная куда-то делась — не знаю, куда. Рубашка моя нагрелась, жжет тело, пар идет от меня. Тут, в суматохе, я забыл пробить последний перевал. Когда закрывал легку — шлак скопился в канаве, спохватился я поздно — канава была полна. Плюнул, пошел к Русико и Тине. Бросил пробы на стол, размахнулся, метнул кусок сырой глины — глина к стенке не пристала: будет много работы.

Посидели мы на лавочке, отдохнули. «Как дела, Отар?» Поднимаю кверху большой палец — «Хорошо». Ило грустно улыбается. «Ну, ничего, — думаю я про себя, — сделаю, все сделаю, а завтра — выходной».

Завтра выходной. Вспомнил — и заулыбался. Самое главное, что пройдет сегодняшний день, до конца смены еще шесть часов, канава еще не вычищена — вычищу, впереди еще один выпуск, сделаю хорошие перевалы, а завтра — выходной; погуляю, если захочу.

... Сре́дь шумного бала случайно,
В тревоге мирской суеты,
Тебя я увидел, но тайна
Твои покрывала черты.

И все время, пока я работал, пока разбивал ломом толстые куски шлака, тянул их крюками, выгребая лопатой, пыхтел, тужился, отдувался — все время весело и как-то яростно твердил я одно и то же, одно и то же, и мне казалось: какой-то особый, ранее мне непонятный смысл заключается в этом четверостишии, и только сейчас, — думал я, — только сейчас, поддеваю я ломом вот эту плиту и все понимаю: «В часы одинокие ночи, люблю я, усталый, прилечь, — я вижу печальные очи, я слышу веселую речь».

А завтра выходной...

Я вспотел, запарился, но вошел в азарт — что бы еще сделать? Канава вычищена, посыпана песком, перевалы установлены. Резо поднимается по лестнице — несет на плечах две длинные трубы для кислорода — хватаю трубы, несу их к горну; одним глазом наблюдаю за старшим горновым: тоже устал, бедняга, стоит, обмахивается рукавицами, жадно пьет воду и опять обмахивается.

Вымели мы мусор с рабочих площадок, сложили лопаты и пошли все на свежий воздух, на лавочку. Гиви стащил с рук рукавицы, и Ило стащил с рук рукавицы, и я стащил с рук рукавицы — Дата подвинулся, уступил нам место, мы расправили плечи, прогнулись в спинах, все трое переглянулись, разом хлопнули рукавицами по скамье и сели. Кругом стоял гул и рев, протяжное шипение доносилось с ТЭЦа, но показало мне, что наступила полнейшая тишина. Пришел Резо и тоже, хлопнув рукавицами о скамейку, уселся с нами рядом.

Сидим, молчим и курим. Тихо кругом. До конца работы еще пол-

часа. Солнце заходит. Ветра нет — дым из гэцовской трубы поднимается столбом прямо в небо. Завод раскинулся под нами: железнодорожные пути, трубы, краны, крыши цехов и мастерских — и везде люди работают. Коксохим, мартен, ТЭЦ, блюминг, трубопрокатный — везде мы: Ило, Резо, Гиви, Давид. Мокрые от пота рубахи на спинах; у каждого своя семья, заботы, дети; война с металлом, поражения и победы — силой, умением и сноровкой, — гордость общая и усталость, добрая улыбка и доброе «здравствуй».

Все хитрые, ловко приспособляющиеся люди бегут физического труда — потому мерзавцев, жуликов, сплетников и кляузников всегда такое множество среди дельцов средней руки. Здесь же я не встретил ни одного подлеца, ни одного шкурника, ни одного подхалима. Благородные, хорошие люди. Впрочем, был один — Валико, да и тот бежал — месяц живет на бюллетене, пьянствует и симулирует.

Вообще говоря, все, что довелось мне здесь увидеть, все, с чем я сталкиваюсь каждый день — довольно неожиданно и противоречиво. Я никогда не бываю подготовлен к тому, как воспринимать тот или иной факт.

Мне пришлось не умозрительно, а реально оценивать то, с чем я здесь сталкиваюсь, — все оказалось гораздо сложнее, и не так легко найти всему исчерпывающее определение. Пусть это будет не так стройно и художественно, но реализм обязывает к точности.

Так вот. На заводе работают бывшие рецидивисты и просто отсидевшие свой срок растратчики, хулиганы, любители легкой наживы. Выйдя из тюрьмы, многие из них попали на завод. Попали просто потому, что после заключения у них не было возможности работать по прежней специальности (если, конечно, она когда-нибудь была), не было возможности занять прежние должности. А завод нуждался в рабочих руках. Так стали рабочими многие из жуликов в прошлом — и мелкие, и крупные. Многие из них сбежали, но выдержав, но многие остались, работают. Некоторые работают уже давно — лет десять, пятнадцать.

Поначалу им пришлось туго — пришлось вынести порой добродушные, порой злые шутки, пришлось огрызаться на издевку, откликаться на прозвища, иногда не очень льстившие их самолюбию. Когда бывший жулик попадает в коллектив людей трудолюбивых, честных, знающих цену по́том добытому хлебу — ему приходится выдержать самое тяжелое испытание — презрение своих новых товарищей. И длится это до тех пор, пока он трудом и по́том не добьется равенства с ними. Человек, обстрелянный таким образом, вновь обретя человеческое достоинство, уже никогда не потеряет его и нет ему возврата к прежней жизни паразита и тунеядца. Бывший карманщик становится рабочим. Как-то особенно дорожит он рабочим своим званием.

Есть люди по натуре своей деятельные, справедливые, добрые, но благодаря случайно сложившимся ситуациям ставшие на путь лихоимства. Под бременем многотрудных испытаний ломаются натуры слабые сердце такого человека наполняется желчью и злобой — он уже особенно научается отыскивать, смаковать даже, людскую низость, грязь, подлость; и никогда уже не порадуетсся добру, любви и человечности, и жизнь ему не жизнь, и радость — не радость. Испить свою долю горечи надлежит каждому, но большинство людей, мне кажется, научается спокойно переносить невзгоды, сохраняет благородство души и юношескую возвышенность устремлений до конца жизни.

Если опустить в кислоту калий, натрий или цинк — они окислятся.

Только золото сохраняется не растворившись и не окислившись. Целовек, растворившийся в мерзости, окислившийся таким образом, брызжет злобой и желчью, мстит человечеству за свое падение. Особенно развратничает он в искусстве, которое призвано сеять в души людей добро и сочувствие, а не заражать их ядом бессилия, безысходности и растерянности.

Когда, к концу дня, к нам приходит четвертая бригада, нас охватывает волнение. Первым входит Михо, старший горновой, он приходит за сорок пять минут до смены и, не теряя даром времени, начинает заряжать пушку глиной; за полчаса до смены собираются остальные. Их пятеро, а нас четверо. Все они очень придирчивые, сдать им смену — дело нешуточное. Когда они, стуча колотками, поднимаются к нам, мы сидим на нашей лавочке и курим. «Вас пятеро, а нас четверо», — каждый раз ехидно напоминает Гиви. Потом мы все небрежно здороваемся, и четвертая бригада расходится уже по цеху принимать работу.

Я еле удерживаюсь от улыбки — горновой, который приходит мечя замещать, являет разительный контраст с моей тощей фигурой, наверно, поэтому, осматривая до блеска убранный шлаковой канаву, он то и дело с подозрением косится на меня — мой вид не внушает ему никакого доверия, и еще ему, наверно, оскорбительно выполнять одинаковую со мной работу. Зовут его Тенгиз. Руки — во! Шея — во! — бычья, спина плотная, широкая, весит он приблизительно вчетверо больше, чем я. Та же сцена повторяется, когда нам сдает смену вторая или третья бригада — здоровенные, рослые, ширококостные вторые и четвертые горновые чувствуют себя неловко, перепоручая бледному, тоненькому человеку сорокаметровую канаву, пять отсечных лопат и шесть мастичных перевалов.

Я и вида не подаю, а в душе ликую.

— Почему ссыпал шлак барьеру?

— Кто ссыпал, тот пусть и убирает.

— А кто ссыпал? Я, что ли?

— Поди потрогай, если хоть один конец будет горячий — сейчас же уберу всю кучу.

Тенгиз трогает несколько кусков — шлак остывший. Значит, ссыпал в неподложенное место не я. «Ах, эти сволочи», — кричит он. — «Кто?» — «Это третья бригада». — «А ты не трогай!» — «И не трону!» — Начинается небольшой и обычный в таких случаях скандал. Кучу шлака кто-то насыпал неделю назад — и мы все ищем виновника. Причем, сцена повторяется слово в слово четыре дня подряд.

Смена сдана. Когда мы уходим, Михо бьет меня по плечу и спрашивает у Тенгиза: «Ну как, все он сделал?» — «Сделал», — отвечает Тенгиз и, в двадцатый уже раз, обращается ко мне со следующей тирадой: «Трудно здесь работать, трудно? Трудно, ну ничего, привыкнешь», — он смотрит на меня и в двадцатый раз, вздыхая, произносит полюбившуюся ему фразу: «Эх, какой дирижер пропадает!»

Спускаюсь по лестнице медленно, вразвалку. Ило, Гиви и Давид бегут в гардероб сломя голову. Время дорого. Я еще не научился быстро совершать этот переход. Отдаюсь моей усталости, смакую удовольствие самого дорогого и ценного момента, когда напряженная работа сменяется полным бездействием. Обычно ведь бывает так: когда долго работаешь, думаешь: как хорошо бы сейчас ничего не делать, положить голову на подушку, раскинуть руки и задремать; когда долго бездельни-

ботать, организм не выдерживает сильной перегрузки, становишься невнимателен, руки слабеют, быстро устаешь, работаешь вяло. Дата как-то пришел в цех подвыпивший, ему все хотелось спать, он охал, кряхтел и извинялся — мы злились, но сделали за него всю работу. Положение у Дата, что и говорить, было не очень приятное.

«Сегодня выпить можно, — заявил Ило, — завтра выходной». Он нарезал крупными ломтями сыр, разложил его аккуратно на бумаге, налил в стакан водки и, прежде чем протянуть его мне, спросил: «А драться не будешь?».

Нежаркое солнышко светило на небе, в тени под деревом было прохладно, мы сидели на травке, скрестив ноги, всякий раз, прежде чем выпить, произносили тосты, серьезные, хорошие и какие-то спокойные.

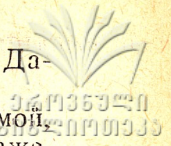
Обычай пить вино постепенно превратился в разновидность разврата. Пьют люди с горя, с тоски, от нечего делать, пьют, возбуждая себя к нарочитой веселости, пьют просто, чтоб напиться до потери сознания; и нередко благовидные и торжественные случаи, которые сопровождаются выпивкой, кончаются ссорой, дракой, разгулом разнузданных страстей.

Но прекрасен обычай пить вино, вином запивая раздумье! Обычай пить вино, чтоб, отрешившись от суеты и хлопот каждодневности, оглянуться и вспомнить; думать, мечтать, в беседе узнавать человека, поделившись, довериться ему.

Протяжные кахетинские песни поются за столом спокойным хором, и познаем мы что-то очень важное, смысл которого не выражается словами; говорит нам наше пение о жизни нашей — о братстве и единстве наших судеб.

Сидит передо мной не хлопотливый, не энергичный горновой — сидит Ило мечтатель, заботливый отец, добрый мой товарищ. Он говорит не торопясь, спрашивает, я отвечаю. Ило доволен мной, доволен тем, что я старателен на работе, что не обижаюсь, когда меня ругают за ошибки, что выношу усталость и не жалуясь. Он рассказывает о своих пятерых сыновьях, они хорошо все учатся, помогают маме по хозяйству. Ило водит их на завод и показывает, как мы работаем, а вечером старшие читают ему вслух. Ило был призван на работу в Донбасс совсем еще молодым, в числе многих грузинских парней. Их всех послали туда на завод, затем перевели в Рустави — так созданы были первые национальные кадры металлургов. Прошло 15 лет, и уже никто из них не вернулся в деревню, крестьянствовать. «Рассказывай, — говорит Ило, — вино — это ключи от сердца». Я рассказываю. Ило кивает головой, понимает меня, кое-чего, возможно, и не понимает, но не хочет прерывать меня неловким вопросом и слушает. Я люблю его очень. Мы одинаково думаем о жизни, труде, о детях, родителях наших и товарищах. «Выпьем, Отар, сегодня за этим столом два человека узнали друг друга. — Ило стряхивает пальцем муравья, переползшего с травки на газету. — Да, узнали друг друга...» Наступает длительная пауза. Он настоительно смотрит мне в глаза своими черными угольками. Так сидим мы некоторое время, сидим прямо, с открытыми лицами, смотрим просто, ясно-влюбленные и веселые: «Выпьем! И будь здоров». Мы слегка захмелели, наступает та ясность чувств и неясность в мыслях, когда язык уже не в силах выразить все душевные наши движения, легкие и хрупкие.

...Так бывает во сне или в сказке: Гиви и Давид садятся вдруг с нами рядом на траву, молча отламывают хлеб, наливают себе вина. Стройны и красивы их движения, стройны наши чувства — четыре человека



сидят на траве, в тени под деревом. Ило в умилении сильно хлопает Да-вида по шее — пошли, вино кончилось.

И вина мы купили еще, и огурцов соленых, поднялись к Резо домой, поджарили колбасы на сковородке, пили много и пели, танцевали даже, Резо играл на пандури. Гиви в конце концов захмелел и заснул. Дата положил мне руку на плечо, и мы с ним стукнулись лбами. Как написать, что это означало?

* * *

Как бы ни было тяжело, будь ты разбит, удручен и расстроен — когда приходит время заступить на смену, какая-то сила, помимо твоей воли, поднимает тебя и влечет в цех. В бытность в институте, помню, поддавшись чувству лени и сонливости, я пропускал лекции, или, поздно проснувшись и глянув на часы, оправдывал себя тем, что все равно не успею к началу лекции, решал вдруг спать еще и засыпал на три часа. Сегодня я тоже проснулся поздно — до начала смены оставалось сорок минут, и охватило вдруг меня знакомое чувство: махнуть рукой, повернуться к стене — «Раз опоздал, ну его к черту, хочу спать». Но вдруг я вскочил, будто кто толкнул меня, сел на кровати с сильным сердцебиением: ведь нас всего четверо в смене! Одевался я панически быстро, почти задыхаясь, и все вертелось у меня в голове: четверо, четверо, четверо!

Мне повезло: я втиснулся в автобус и успокоился — впереди еще полчаса. Я ощутил плечом крепкую руку соседа. Кругом скромные куртки, худые спокойные лица, все держатся за поручни мускулистыми, мозолистыми руками. Я с удовольствием чувствую, что плечо у меня стало сильным, и спина тоже, крепко и легко держусь за перекладину.

Мы с шумом вывалились из автобуса. Кто-то толкнул меня плечом — Гиви. Молча пожали друг другу руки: «Опаздываем», — сказал он и прибавил шаг.

Сейчас, идя рядом с Гиви, я вдруг понял, как многое меня уже связывает с заводом. Когда, подходя к проходной, я увидел сквозь решетку чернеющие вдаль, на фоне белого неба знакомые очертания наших доменных печей, меня охватило чувство нежности и защемило сердце.

По радио передавали торжественные речи в честь Терешковой и Быковского, вернувшихся из космоса, читали стихи и пели песни.

Уже близко совсем пыхтит и свистит наша печь. Еще работает третья бригада, ждет нас. А я мог проспять!

Мы не очень опоздали. Резо и Ило уже стучат колодками, поднимаются к горну по лестнице. Дата тащит вверх длинную продувную трубу.

Я наспех принимаю смену, беру свои инструменты из шкафа; раздаётся гудок — началось.

Гиви, принимая смену, не заметил, что третья бригада не расчистила крайний чугунный желоб — тяжелые куски чугуна свалены в носок. Подъехали пустые ковши. Мы стояли у самого края площадки, размахнувшись два-три раза, скидывали большой кусок чугуна в ковш. Я как-то неловко взялся, зацепился рукавицей за шероховатый кран и... три! — на третий взмах чуть не отправился сам вслед за чугуном и рукавицей. Гиви ловко удержал меня за штанину. «Ковши хоть и пустые, но все-таки очень горячие — если упадешь, можешь испечься», — спокойно предупредил Ило. Через два часа — опять казус. Я поливал водой из

шланга мою канаву, так как лить нужно было далеко — стал все выше и выше поднимать струю, поднимал до тех пор, пока не задел находящиеся под напряжением обнаженные металлические прутья, по которым подается ток для подъемного крана. Раздался оглушительный треск, посыпались искры. Резо раскричался, Гиви побледнел. «Если шланг был бы мокрый — тебя бы убило», — сказал Ило и закрыл кран, остановил воду.

Вот и все. В остальном работа мне сегодня давалась легко, даже показалась скучной и однообразной. Сделал я все быстро, совсем не устал, мы болтали, сидя на солнышке, — чугунок шел хороший.

На эстраду вышел лысый сморщенный человечек в полосатом, тщательно отутюженном костюме с мандолиной в руках. Остроносенькая, с плоской грудью, дама-конферансье жеманно сложила губы бантиком, дождалась тишины в зале и объявила звонким, чуть шикливым голосом: «Ференц Лист. Вторая рапсодия».

Человечек снял пиджак, перевесил его через спинку стула и начал гребнать на мандолине вторую рапсодию Листа.

Концерт артистов филармонии одного из областных городов. Мы сидим в концертном зале Дома металлургов. Гиви дремлет, мы затащили его сюда силой, он устал, расстроился сегодня и зол — у нас был крупный скандал с обер-мастером: очень плохими оказались оба выпуска, работы было по горло, мы еле справились и не смогли подмести площадку — просто выбились из сил и не успели, чугунок шел тяжелый — это его, обер-мастера вина, он мало засыпал извести и аглоруды, из-за него нам пришлось возиться с твердым шлаком, пришлось долбить голстую корку чугуна в желобе — и, видите ли, не успели подмести площадку! Он раскричался и записал нам в журнал невыполнение задания, — словом, с нас удержат 17 процентов зарплаты. Мы шли домой угрюмые, оскорбленные несправедливостью и злые от сознания, что бессильны что-то и кому-то доказать. «Пойдемте на концерт», — вдруг сказал Ило. Мы прочли афишу, пожали все плечами — «пойдем».

Сперва выступал певец с аккомпаниатором-баянистом, потом силовые акробаты — две женщины, девочка и мужчина. Мужчина трясся от напряжения, но выдержал-таки всю их тяжесть на шее — номер сорвал бурные аплодисменты. Женщины были в пестрых купальных трусах и лифчиках. Ило ворчал, Дата переглядывался с нами и застенчиво улыбался. После Листа на мандолине вышла певица и низким твердым голосом пропела два бодрых марша про труд и про победы. После каждой высокой ноты она гордо встряхивала подбородком, изображая театральную решимость бороться вместе с нами до конца. Когда филармонисты едут к металлургам, они обязательно везут с собой два или три таких номера, чтобы «связать с современностью». Зал покорно аплодировал, чувствовалось привычное в таких случаях смущение: что поделаешь — певице необходимо пропеть все это, а мы обязаны прослушать. Дальше все шло в том же духе; балет, декламация, фокусы, пляски, дивертисмент — зал встречал каждый номер с надеждой и провожал равными аплодисментами; внезапная пошлость, серость, безвкусица. Я вспомнил, как Резо играл на пандури, а мы пели; вспомнил и вздохнул. Ило толкнул меня в бок после дивертисмента — мы поморщились: боже, хоть бы что-нибудь!

...И вдруг все прошло, все исчезло: и тяготившее нас неустройство, и скука, и раздражение — как будто повеяло свежим ветром, все провалилось куда-то. В зале не кашляет никто, не скрипит стулом — воцарилась

напряженная тишина. Я даже не заметил, когда это случилось, резко повернулся на слабый, мягкий и плачущий звук скрипки, который чуть слышно, но уверенно выплыл откуда-то, из общего шума, сразу стало тихо, и упругая тягучая нота повисла в воздухе, обещая что-то и предупреждая. Что это? На сцене стоит тоненькая, немолодая уже женщина в сереньком легком платье, волосы темные, коротко острижены. Стоит женщина и играет Моцарта. Ну же, еще! Еще! Откуда она появилась? Как она попала в эту стаю матерых халтурщиков? Зал затаил дыхание, глаза у всех сверкают, Ило выпрямился и весь подался как-то вперед. Неужели это только надежда? Кажется... ну, конечно, это — Моцарт. Женщина играет без аккомпанемента, и очень хорошо, что без аккомпанемента. Как это красиво и ладно все получилось. После стольких несчастий и унижающего нас убожества мы слушаем песнь вдохновенную и высокую.

Легкие чистые звуки летят в зал из-под пальцев этой хрупкой женщины, души наши открыты, добро и грусть, и радость — каждый следующий звук и каждая нота приходят к нам как откровение, и никто уже не хочет, чтоб когда-нибудь кончилась эта музыка. Еще, еще!

Гиви повернулся и смотрит мне прямо в глаза вопрошающе и требовательно. Ило вскочил, размахивает руками, колотит Давида по плечам, зал гудит и воем, яростно хлопают все и требуют, Давид смущенно улыбається.

Я, кажется, слишком категоричен, но пусть пока остается все так, как написано, это — только что пережитое волнение. Я шел с концерта и думал о том, сколько мы терпим фальши и в искусстве, и в жизни, и в общении друг с другом. Мы терпим фальшь как что-то привычное и иногда сознательно поддаемся ей, как необходимости. И как редки и хороши минуты искренности. Вдруг меня поразила одна чрезвычайно простая мысль: ну хорошо, можно врать и фальшивить экспромтом, быть неискренним смотря по обстоятельствам, но как могут люди писать годами книгу, картину, симфонию, снимать фильмы, тратить столько усилий, энергии, ума, и все — чтоб сознательно создать нечто фальшивое, ничего общего не имеющее с их настоящими чувствами и мыслями?

Пятьсот человек сидят в зале, ты отнимаешь у них два часа жизни, за эти два часа тебе предоставляется возможность приобщить их к своему духу, заразить их своими мыслями и волнением, тебе предоставлена возможность не копаться самому лишь в своих сокровенных думах, а сделать их близкими и общими для всех. Люди с удовольствием посвящают тебе эти два часа жизни, волнуются твоим волнением, смеются вместе с тобой и плачут, и ты уже не один — посредством искреннего и доброго творения им сообщилась частица твоей души.

Нельзя быть лживым за столом, когда пьется вино, когда товарищи сообщают друг другу воспоминания свои и мечты; нельзя быть лживым в беседе и поступках, но тем более нельзя быть лживым в искусстве.

Пятьсот человек посвящают тебе два часа своей жизни, разве можно халтурить в таком серьезном деле? Если из пятисот хоть одному ты сообщишь радость, если хоть один человек вздохнет с тобою вместе — уже стоит, — пусть потом все пройдет и забудется, ради этого одного мгновения уже стоит заниматься искусством, идти на любые жертвы и... не врать!

* * *

Сегодня день металлурга. Праздник.

Толпы репортеров, фотокорреспондентов и киношников бродят по заводу, шелкают фотоаппаратами, записывают что-то в блокноты, лаза-

ют всюду, пугаются под ногами и мешают работать. Нам нравится, что нас фотографируют. Ило, Резо и Гиви — все трое вдруг стали как-то неестественно двигаться, весь день не снимают войлочных курток и шапок — жарятся, подчеркнута по-деловому обращаются друг к другу и смущаются один перед другим за свою неестественность.

Киношники и фотокорреспонденты обращаются с нами как с натурщиками, ставят нас в какие-то позы, просят делать бессмысленную работу, а если таковая не находится, то просто предлагают: «Подними молоток, возьми за колесо, как будто работаешь», «Улыбнись, смотри через очки — как будто смотришь на чугун». Или еще лучше: мы пробили мастичную перегородку, раскаленный, быстрый шлак падает в ковш, а они кричат: «Хорошо, давай еще раз!» Долго они суетились, прыгали вокруг и наконец убежали — у всех полегчало на сердце. Дато вылез из бункера, где он скрывался все это время, Гиви стал дразнить Резо и показывать нам, как тот пыжился перед фотографами. Театриз, наш мастер, немного, кажется, обижен — его ни разу не сфотографировали.

Ушли корреспонденты, чужие нам люди. Они нас снимали, разговаривали с нами, и ни разу я не почувствовал живой нотки заинтересованности в их голосе. Их взгляд скользил только по нашим лицам, и так они и ушли, ни разу не посмотрев нам в глаза. Некогда!

После работы было собрание, торжественный вечер. Говорили речи. Мы сидели в первых рядах и с нетерпением ждали, когда выступит наш товарищ. Наконец-то! «Слово имеет горновой агло-доменного цеха»... Гиви стоит на трибуне — сухой, сосредоточенный и совершенно стандартный. Читает по бумажке, запинаясь, едва различает слова — речь напечатана на машинке, ее писал для Гиви какой-то бойкий структурник заводоуправления. Бедный Гиви! Какие заковыристые громкие фразы ему приходится выговаривать! Наконец он кончил, заверив, всех присутствующих в том, что «весь наш коллектив будет работать еще лучше». Гиви сошел с трибуны, уселся с нами рядом, он был возбужден, старался держаться спокойно и делал вид, что не замечает нашего сочувствия. Мне стало досадно: умный, смелый, жадный в работе, мастер своего дела и — подсунули ему читать по бумажке ничтожные, штампованные фразы какого-то набившего руку писака.

После торжественной части был концерт, танцы под разноцветными флажками, горели пестрые китайские фонарики. Было просто и весело.

* * *

Валико Кебадзе, третий горновой нашей бригады, просидел полтора месяца на липовом бюллетене. Позавчера обер-мастер встретил его пьяного в парке и пригрозил увольнением с работы. Сегодня Валико пришел в цех в середине смены, долго пыхтел и охал, натягивая на себя спецовку. Она столько времени висела без употребления, что стала сухой и жесткой, как жезл. Валико оделся, стоит и наблюдает, как я сыплю мастику к перевалам, скалит стальные зубы и командует. Я разозлился и как раскричусь: «А ну, бери лопату!» Валико удивился, но лопату взял. Я не дал ему очнуться: «А ну, трамбуй перевал!»... «А ну, спускайся в бункер»... «А ну, скорей!»... «А ну, цепляй!»...

Гиви подмигивает — «так его!». Я полез на кран, стали мы опорожнять ящики с мусором, грузить глину и песок. Валико цеплял крюки к ящикам, бегал по платформе, вымазался в глине, стал черный от пыли, вспотел — хватит с него. Я остался сидеть на кране.

Как хорошо наблюдать, когда течет чугун. Все гудит внизу и воет, белый дым летит вверх и тает под крышей, быстрые искры пролетают над площадкой, люди, как черти из сказки, скачут и суетятся у огненных ручьев...

Трудная и опасная у нас работа.

Потухли канавы, паровоз загудел и уехал. Я спустился вниз. Боже! Валико не установил ковш, и половина, ровно половина шлака пролилась на рельсы. Ну что ты будешь делать — еще оправдывается, кричит: «Я так устал, я болен!» Врет все.

А я голоден с утра — не успел припасти себе завтрак, падаю — так хочу есть.

Пришлось нам всем спуститься вниз и чистить железнодорожные пути. Кончилась смена, а мы все сыплем, долбим ломом и грузим в ящики пролитый шлак. Работали после смены три лишних часа. Когда кончили — выяснилось, что в душевой отключили уже воду. Так и пошли грязные домой.

* * *

Наступил вечер. Я отправился на день рождения к Нуну. Немного опоздал, гости все сидели уже за столом. Стучали вилками, звенели хрусталем: еще не настало время разговоров — кушали. Длинный, накрытый несколькими белыми скатертями стол стоял по диагонали в большой комнате. С потолка светила яркая люстра. Гостей было много. «Здравствуйте! Привет, познакомьтесь — Циала, Манана, Наташа...» — «Очень приятно...» Девушки улыбнулись ничего не означающей улыбкой и тут же, забыв обо мне, отвернулись. Ребята почти все знакомые. Нуну усадила меня на свой стул, а сама перебралась на диван к девочкам.

«Будь здорова, Нуну!» «Спасибо. Кушай!» И я стал кушать. Мы пили белое вино, произносили тосты, читали стихи, говорили глупости, девочки немного кривлялись. Все чувствовали себя красивыми, остроумными и приятными друг другу. В воздухе царило то молодое напряжение, какое бывает, когда много молодых людей соберутся вдруг все вместе. Всеми овладело особенное чувство приподнятости и ожидания чего-то, и оно было во всем: во взглядах — косо, украдкой бросаемых друг на друга молодыми людьми, в загадочных и чуть растерянных улыбках девушек, в легких и грациозных их движениях, в шутках, которым все обязательно смеялись, какой-то другой, тонкий смысл вкладывая и в свой смех, и в самую эту шутку.

Поэты читали свои стихи, стихи были очень хорошие, или всем так казалось. Читали Блока, Галактиона, Важа, Пушкина.

...Мне грустно и легко; печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою...

— Я очень люблю Пушкина, прочтите еще, — сказала Наташа.

Мы выпили тост за бабушку, позвали ее и, когда она появилась, долго размахивали бокалами, говорили что-то нечленораздельное, почтительно восторженное; вошла, все шумно повскакали со своих мест — она покорно кивала нам головой и улыбалась лукавыми глазками.

Потом были танцы, фрукты, кофе и пирожное. Уже определились пары, танцевали нескончаемо долго и упорно. Некоторые ребята напились, сидели в конце пустого стола и спорили, не слушая и перебивая

друг друга. Потом все устали и разбрелись по разным углам. Я заглянул в соседнюю комнату — отец Нуно, глава семейства, сидел, согнувшись в низком плетеном кресле, опустив на колени раскрытую книгу. Слабый свет настольной лампы освещал седой и крепкий его затылок, устало опущенные плечи...

Когда мы разошлись, было три часа ночи. С визгом и гиканьем спустились по длинной, гулкой лестнице большого дома. Наверху, в ярко освещенной комнате остался стоять стол; длинный пустой обеденный стол с объедками и пеплом на тарелках, с пятнами на мятой скатерти, с недопитым вином в бокалах.

* * *

Я провожу в Тбилиси мой второй выходной день. В двенадцать часов мне заступать в ночную смену, и это будет моя последняя смена в доменном цехе. Расстаюсь я с ним с сожалением и грустью. В Тбилиси, плюхнувшись обратно в привычную воду родного моего аквариума, я вдруг отчетливо понял и почувствовал, что значили для меня эти два месяца, новые мои товарищи и тяжелый наш совместный труд. Уже не ноют суставы и не болит спина, руки привыкли к работе. Я научился быстро орудовать ломом; ловко поддевая лопату коленом, загребать ею сразу много шлаку и точно, не рассыпая, метать его далеко в урны: угадывать, какой идет чугун и вовремя затыкать летку пикой; совсем иной я научился усталости и отдыху совсем иному. Рухнули мои книжные представления о труде и тружениках. И раньше достаточно видел я людей, трудившихся много и упорно, но это совсем другое, когда работаешь руками, жарись в огне и дышишь пылью.

Низкий мой им поклон.

Процесс самопознания, взвешивания и оценки своих отношений и мыслей об окружающем у каждого происходит наедине с самим собой. В искусстве — все наоборот, именно интимных и сокровенных мыслей требует оно от человека. Пишу — и вычеркиваю, все мне мерещится ненужная откровенность и сентиментальность. Не такая это простая штука — писать. Такое чувство, будто снимаешь рубашку на людях. Раньше я думал так об искусстве актера: в этой профессии главное качество таланта заключается в некоем публичном бесстыдстве — умении обнажать, приноравливая к образу, самые сокровенные действительные и возможные свои душевные качества. Мне приходилось трудно. Но не писать — значило бы растерять те мелкие, но важнейшие подробности, из которых складывалось все пережитое и передуманное мной за это время. Жизнь моя на заводе не ознаменовалась ни бурными конфликтами, ни острыми столкновениями, ни трагедией — были будни, была работа — жизнь простая, но трудная. Было нас пятеро товарищей, товарищи мои были добрые и трудолюбивые.

Я перечитал эти мои тетради — нужно работать еще и работать. События, впечатления и мысли, которые я так подробно записывал, послужат основой эпизодам.

Утром я пошел к Мамуке Миндели просить рассчитать меня. Они сидели на длинной скамье в АТЗ первой печи все вместе: начальник цеха, обер-мастер и главный инженер. «Не отпущу!» — коротко сказал Миндели, едва взглянув на мое заявление, и отвернулся. Я упорно продолжал стоять. Через некоторое время он поднял на меня свои заспаные глаза и стал говорить с расстановкой, втолковывая: «Я не могу те-

бя отпустить, у меня людей не хватает. По четыре человека в бригаде работают. Это называется «текучесть кадров». Почему ты уходишь?» Я не мог объяснить ему, почему ухожу, поэтому вызывающе и коротко ответил: «Не хочу у вас больше работать!» Мамука пожал плечами: «Ничего не могу сделать. Иди в отдел кадров».

Ило, Гиви и Резо ждали меня снаружи.

«Отпустил?» — хором спросили они. — «Нет». — «Ну, мы так и знали!» Они очень хотели мне чем-то помочь.

Пришлось идти в отдел кадров, стоять в очереди, звонить куда-то... Через три дня я был уволен с завода по статье 44 КЗОТ пункт «А».

Я приехал на завод попрощаться. Непривычно и странно мне было подниматься в цех в вельветовых брюках. Шел выпуск. Прерывисто дыша, мокрые от пота бегали ребята вдоль раскаленных желобов, долбили перевалы, поднимали отсечки, сыпали песок, кидали глину. Я стоял, облокотившись о перила мостика, никто не замечал меня.

Потом все пили воду, стояли у вентиляторов. Я попробовал выпить воды — она показалась мне невкусной, я отпил два глотка из стакана и выплеснул остальное в таз. Гиви и Давид сидели на лавочке рядом со мной, расспрашивали меня обо всем, курили, отдувались и тяжело дышали. Я чувствовал себя экскурсантом, мне было очень неприятно сухому, отдохнувшему и чистому сидеть на любимой нашей лавочке и чувствовать себя уже чужим.

Ило отлил мне красивый кусок шлака и принес — на память: «Как дела, Отар?» — он ведь всегда меня так спрашивал раньше, я знаю, что это означает. — «Хорошо, Ило». — «То-то!».

Пора на работу. «До свидания, Давид... до свидания, Резо...»
До свидания!..

Мне хочется снять фильм, посвященный труду и жизни людей в наш сложный, интересный век.

Часть молодых людей искусственно погружает себя в пустоту душевной лени и ранней усталости, умственной опустошенности, красивой хандры, фразерства и бесцельного философствования.

Единственное благородное назначение человека на земле — оставить потомству плоды своего труда. Сделать мир краше и лучше. Нужно жить на земле, а не лениться. Нужно любить горячо и работать весело, а не вздыхать, развалившись на мягком диване. Нужно испытать и горести и радости — это жизнь. Нужно учить детей своих жизни.

Из поколения в поколение люди передавали опыт свой и умение. Строили пирамиды и храмы, сажали деревья, создавали машины, писали книги; каждое поколение освобождалось от заблуждений своих отцов, чтоб передать новые свои заблуждения потомкам. И радость была, и любовь, и грусть — у каждого свои, неповторимые: это жизнь.

А сейчас нужно жить и трудиться и строить, как никогда раньше.

* * *

В комнате полумрак.

Светится глазок магнитофона в темном углу. Тихо играет музыка.

Гурам и Манана танцуют вяло и не смотрят друг на друга.

Нана листает журналы, забравшись на диван с ногами.

Марина стоит у окна и гладит кота.

Вахтанг сидит на полу и мелкими глотками пьет из рюмки, почти пустая бутылка стоит у него в ногах.

Другая, совсем уже пустая бутылка стоит на низеньком столике. Нодар и Тенгиз сидят вокруг столика на табуреточках и тоже отпивают мелкими глотками из рюмочек.

Никто не разговаривает, никто не смеется.

Никто не хмурится даже.

Вполне нормальные молодые люди, неглупые, здоровые. Только находятся в каком-то трансе — их ничто не волнует, ничто не заботит.

Просто — это называется «провести время у Мананы».

Тут особенно важно, что именно провести время.

Может быть, будет небольшой спор, и все оживятся, ведь молодые все-таки люди. Может быть, будет даже жаркий спор. И все о предметах, казалось, бы, серьезнейших и возвышенных. Будут даже неожиданные и остроумные высказывания. Но все это — так, впустую.

И опять начнется игра в «проводить время».

Или мальчики сядут играть в карты. Впрочем, они и не такие уж мальчики. Но их кормят и одевают папы и мамы, поэтому они и проводят время. Опасно, если им захочется играть в эту игру всю жизнь.

— Водка кончилась!

— Кто пойдет за водкой?

— Кинем жребий.

Разыграли жребий: Вахтанг.

— У меня есть рубль.

— И у меня.

— Вот еще два.

— Захвати сигареты.

Вахтанг вздохнул, прикрыл за собой двери, не торопясь спустился по лестнице и вышел из подъезда на проспект Плеханова. Постоял и снова вздохнул. Закурил сигарету и затанулся. Было двенадцать часов ночи. Мертвым синим светом мерцали лампы. Пусто кругом и тихо. За водкой нужно ехать в привокзальный буфет, который работает ночью. Нужно ехать на такси.

...Жребий пал на Вахтанга, ему уже не суждено вернуться в эту комнату и проводить время со своими сверстниками.

Вахтанг попадает в жизнь.

Он научится преодолевать свое неумение, научится трудиться, будет уставать очень. Новые у него будут товарищи, дружба крепкая. Он полюбит девушку, женится, радость испытает и горе. Дети будут, заботы, драки справедливые, поражения. Думы серьезные, желания еще неосуществленные, победы и мечты.

Люди будут разные — добрые, злые, благородные и подлые.

Радость будет и веселье. Совсем другими глазами посмотрит Вахтанг на своих родителей.

Иногда он будет пить вино и слушать музыку. Научится отличать искреннее от фальшивого. Будет работать, будет жить.

...Пройдет много времени.

Седина уже легкая в висках. Пятеро детей: две девочки, три мальчика. Жену зовут Циала.

Шесть часов вечера. Идут они все вместе по проспекту Плеханова. Дети держатся за руки.

...Гастроном. Вахтанг остановился и вспомнил. Вот он, этот дом — рядом! «Подожди меня немного, — сказал он Циале, — я сейчас». Ку-

пил бутылку коньяку и быстро поднялся по знакомой лестнице на третий этаж. Позвонил. Волнуется: прошло пять лет!

У Мананы в доме ничего не изменилось. Точно та же, что и пять лет назад, звучит в комнате тихая музыка, и двое все так же танцуют, не глядя друг на друга. Нана все листает журналы, забравшись на диван с ногами, Марина все гладит кота, мальчики сидят на табуреточках и скучают, на столике стоит пустая бутылка. У дверей позвонили. Манана не спеша вышла в переднюю:

«Принес?» — спросила она, увидев у Вахтанга в руках бутылку, и вернулась в комнату. Никто не ахнул, никто не удивился, никто не заметил седины в висках у товарища. Никто не заметил, сколько времени прошло с того давнего вечера. Гурам спросил только:

— Что ты купил, водку?

— Нет, коньяк, — ответил Вахтанг.

— Сколько звездочек?

— Четыре.

— Сойдет.

Коньяк разлили в рюмочки. Будут пить по очереди, чтоб мы внимательно могли рассмотреть их лица. Ничего не выражающие лица бездельников.

— А сигареты принес? — вспомнила вдруг Манана.

Ответа не последовало.

Мальчики медленно повернули головы и уставились на дверь. Вахтанга не было. Они смотрели некоторое время, ничему не удивляясь, потом пожали плечами и отвернулись. Марина по-прежнему гладила кота.

...Вахтанг и Циала шли по шумной, залитой вечерним светом улице. Три мальчика и две девочки, взявшись за руки, следовали за ними.

Так представляется мне идея и фабула будущего сценария, при написании которого и мне и автору нужно будет использовать заметки, мысли и наблюдения, впечатления — записанные и не записанные, которыми мы располагаем в результате поездки и работы в Рустави.



ВЕСНА МОЕЙ СТРАНЫ

* * *

Там, где туры на голых вершинах
нищетою и гордыней объяты,
в многолетних семействах орлиных
подрастают на солнце орлята.

В тишь, как молния в древо, вонзится
крик индейки — и вдруг, и зловеще —
с горным лесом прощается птица,
и осина в ответ ей трепещет.

В каждом гнездышке, в ветке и в камне —
трепетанье, испуг и смятенье,
здесь, в лесу, где, казалось, веками
и покой, и простор для цветенья.

Здесь — все дышит, лопочет, трясется,
там, вверху, — все недвижно и немое:
нищий тур, восхваляющий солнце,
и орел, пересекающий небо.

* * *

Вот весна орнамент кончила на доме
и гнездо на нем для ласточки слепила.
В винограднике — на тропке, на изломе —
я стоял — она неслышно проходила.
О весна! Как ты баюкала, качала
всходы юные — и плавно, и упруго!
И какой непробиваемой сначала
показалась мне зеленая кольчуга.
Ты дала потокам силу и движенье,
пастуха подбила речью родниковой
на неслыханное (с лета) нарушение —

он волнует нас свирелью тростниковой.
О счастливая, дарующая счастье!
Если осень и роскошна, и богата,
за твое,
такое теплое, участие —
это, в сущности, заслуженная плата.
Ты -- как донор: ты все силы в нас вли-
ваешь.
Ты -- валадчица счастливых потрясений.
Потому такую нежность вызываешь
у страны моей — обители весенней.

* * *

И ополчится весной Кведрула
на дол равнинный, как на врага.
Тогда от влеска ее, от гула
дрожат и воздух, и берега.
Могуч и дерзок ее рывок —
и ствол ей лежок, как поплавок.

Дерзнет ли берег стеснить движенье —
ударят волны, как град камней.
И вся Кведрула — как воплощенье

воскресшей страсти прошедших дней.
Себя не помня, поток готов
открыть изнанку земных пластов.

Какая сила проникла тайно
в сосуды тихих прозрачных вод
и так упрямо и неустанно
незлую речку в набег ведет?
Плеснет Кведрула по валуну —
и будто в битву, влетит в весну.

ТАГУ

Из „Одишских рассказов“

Перевод с грузинского Ю. Нагибина

Послов сопровождал Кешан Чиладзе. Они торопились: выйдя утром из Потийской гавани, не сделали ни одного привала. Шли густым, вековым лесом; высокие, могучие кроны, образуя сплошной свод, скрывали от людей солнце. Потеряв счет времени, послы опасались, что ночь застигнет их в чаще. От зноя, казалось, закипало болото, со всех сторон подступавшее к путникам. В мрачном молчании леса было слышно, как булькает и клокочет трясына, из которой то и дело выскакивали на дорогу опромные пучеглазые жабы. От омерзения, смешанного со страхом, у послов перекашивались лица. Их было двое, они несли к Дадиани послание султана Мурада.

Люди одишского правителя, мтавара, никогда не вели турецких послов в его резиденцию прямой дорогой и старательно обходили населенные места, поля, сады, виноградники. Если послы высаживались в гавани Поти или Кулеви, им приходилось преодолевать на своем пути лесные чащи и топкие болота. Если шли из Анаклии, то их вели по опасным, узким тропам, по самому краю обрывов и пропастей; на реках проводники обходили броды и переправляли послов через бурлящие водовороты. Ночлег им

устраивали в грязных пастушеских хижинах, где дым очага выжигал глаза, а потчевали их черствым мчади и вяленой козлятиной. Ложем им служила охапка сена, подушкой — обрубок дерева. Словом, прежде чем послы добирались до Дадиани, они проклинали свою судьбу, приведшую их в Одиши. Таким способом Дадиани хотел обмануть могущественного султана, отбить у него охоту владеть будто бы нищим, обездоленным полуголодным княжеством Одиши.

Приближенные Дадиани, которым он поручал встречать иностранных послов и курьеров, брали с собой опытных проводников, знакомых с каждой тропкой, с каждой извилиной дороги. На этот раз проводниками были пастухи Кешана Чиладзе, Тагу Зарандиа и его семнадцатилетний сын Вагуриа Сквери. «Сквери» (что означает козуля) юношу прозвали потому, что своим стройным станом, точеной шеей и большими глазами с длинными ресницами он действительно походил на козюлю.

Вагуриа Сквери был одет в домотканые из серой шерсти штаны и рубаху, из которых давно вырос: штаны едва доходили ему до колен, а рукава рубахи до локтей. Он был не обут, простоволос, подпоясан грубой веревкой.

Землю, по которой ступали путники, устилал сплошной покров из перегнившей листвы и моха. Росшие вокруг болота кусты и колосочки сплелись между собой, образуя труднопроходимые заросли; бук, ольха, тополь и липа цеплялись друг за друга ветвями.

Вагуриа Сквери быстро и безошибочно угадывал, где под покровом гнилой листвы и моха скрывалась твердая, сухая земля, а где — коварное, бездонное болото, поджидающее свою жертву. И отец, и сын, перегоняя с места на место княжеский скот, вдоль и поперек исходили горную часть Одиши и равнины ее прибрежной полосы. Не было таких горных рек и стремнин, через которые им не приходилось переправляться.

Собираясь в поход или задумав какое-либо иное опасное дело, Кешан Чиладзе всегда призывал к себе Тагу Зарандиа. Кешана восхищало невозмутимое спокойствие Тагу перед лицом любой опасности и даже самой смерти, его способность терпеливо переносить телесные страдания. Поручая ему сопровождать турецких послов, Кешан твердо был уверен, что никто другой не сможет провести их через Коратскую чащобу. Но Кешан не знал одного: Тагу Зарандиа уже не был прежним Тагу. Зрение его потеряло свою остроту, и сердце начало сдавать, и задору стало куда меньше. Правда, он, как и прежде, добросовестно пас тучные стада своего господина, но теперь он не чувствовал всю полноту жизни, особенно после утраты двух своих детей.

Когда Тагу передали приказание немедленно явиться к Кешану, он обрадовался, что князь вспомнил о нем, но и огорчился, считая себя уже непригодным для важных дел. Узнав, что ему поручают быть проводником турецких послов, он без колебания решил сопровождать их: даже на смертном одре не отказался бы Тагу от такого поручения, ведь с турками у него были давние

счета. Скрыв от князя, что время и гажелые утраты ослабили его тело и дух, Тагу решил взять с собой сына.

Зной все прибывал, становилось трудно дышать. Шли гуськом: впереди, по непроторенной дороге, шагал Сквери, за ним Тагу и Кешан Чиладзе, далее послы, а замыкали шестые слуги. Дорога осталась далеко в стороне, но, подумав, что ночь застанет их в лесу, Сквери решил вновь выйти на дорогу.

— Сквери! — Услышав тихий, предостерегающий голос отца, он тотчас же воротился на прежний путь.

Между ними было условлено, что пока отец не подаст ему знака, он не должен выводить послов на дорогу: Тагу хотел помучить турок, довести их до изнеможения. И хотя Вагуриа своим безошибочным чутьем понимал, что скоро потеряет направление, он все же повиновался отцу.

Спускались сумерки. Лес притих, слышно было лишь надсадное дыхание утомленных путников, звуки всплывающих на болоте и лопающихся пузырей, неумолчный комариный звон.

Все ощущали, что творится что-то неладное, что проводники сбились с пути. Послов охватило подозрение: как могли люди мтавара заблудиться на собственной земле? Они украдкой наблюдали за поведением проводников, и подозрение их вскоре рассеялось: те сами были растеряны и взволнованы не меньше послов...

Тагу уже жалел, что помешал сыну вернуться на дорогу. Вагуриа рассудил правильно, а его, Тагу, ослепила злоба против неверных. Теперь же оставалось одно: идти вперед. Если они и не выберутся на дорогу, то, быть может, повстречают пастухов, которые выведут их из болота.

Между тем идти стало труднее. Почва под ногами делалась все более зыбкой, воздух, насыщенный болотными испарениями, стеснял дыхание, комары облепили изму-

ченных путников, лезли в глаза, в нос, в уши, за воротник, под шапку. Шли уже наугад, по несколько раз обходя тот же куст, то же дерево, ту же тропку; земля под ногами изгибалась, оседала, липла к подошвам, утяжеляя шаг. Утомленные, пришедшие в отчаяние путники с трудом волочили ноги. Один только Вагуриа Сквери не терял бодрости и спокойствия. Его уверенная поступь, высоко поднятая голова, ясная улыбка вселяли в путников надежду. Вагуриа видел, что люди выбились из сил. Чтобы подбодрить их, он запел песню. Это была любимая песня его сестры Цау, он запевал ее в трудные минуты своей жизни.

В голосе Вагуриа звучала вечно юная сила жизни и смутная печаль, понятная только Тагу. Эта песня перенесла его в прошлое.

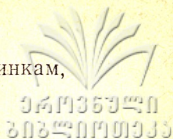
... Пасхальная ночь. На балконе дома он свежует подвешенного к столбу козленка. Только сегодня спустился с зимних пастбищ, где он пас господское стадо. Вся семья в сборе, и в доме царит радость. На столе — крашеные яйца. Блестят глаза у Вагуриа и Куджи. Цау щиплет кур на балконе. Сегодня она так счастлива: вернулся домой отец. Она крутится по дому, как волчок, и все успевает сделать: постирать и починить отцу белье, умыть его, причесать, вычистить одежду. Ведь сколько времени был он вдали от близких, без ухода, как соскучился он по жене и детям! Цау не дает отцу и пальцем пошевелить, выхватывает любое дело у него из рук...

Едва только Тагу освеживал козленка, как Цау уже ставит перед ним котел.

— Принеси и воду, дочурка!

Цау хватает кувшин и, пританцовывая, бежит к колодцу. На бегу она напеваёт, радуясь и яркой луны над головой, и цветению сливовых деревьев, и своим шестнадцати людям. Как колокольчики, звенит ее голос:

Высоко, высоко белые горы,
На горах стоят пастухи,
Они спускаются по узким тропинкам,
Встретят Зису на Ингири.



Внезапно голос ее обрывается, и до Тагу доносится приглушенный крик:

— О-о-тец!

В переулке зацокали копыта. Тагу сбегаёт с балкона, с маху перескакивает через забор, но всадники уже далеко. Из деревни доносится лай собак, женский визг, боевой клич мужчин и возгласы:

— Курсали! Курсали!

— Цау похитили!

— Скорей, скорей, не упускайте!

Люди перескакивали через заборы, канавы, ручьи и пускались в погоню за похитителями, но те были уже недосыгаемы...

Горько стало Тагу при этом воспоминании. Цау теперь на чужой стороне, наложница какого-нибудь турка. А за собой сейчас слышит Тагу поступь своих недругов: словно тяжелые капли падают в тишине отзвуки их шагов. Раз, два, три, пять... десять лет!..

Другая картина встает перед взором Тагу. В Одиши ждут нашего гостя, и пастухи угнали стада в горы. Ночью грозовой ливень захлестнул окрестные пастбища, мощные потоки унесли множество коров, лошадей, овец, козлов, жеребят. Пастухи, убежденные, что это архангел Михаил, грозный владыка гор, наслал на них непогоду, при первом же ударе грома, чтобы умиловить его, разожгли костры и запели старинный гимн «Даэргвешва». Но все было тщетно: еще прознее блистали молнии и грохотал гром, еще сильнее злобствовала гроза. Стремительные потоки косо-го дождя хлестали по непокрытым головам людей, слепили глаза, прерывали дыхание. Но пастухи продолжали петь, выпрашивая у неба милость. Наутро от многочисленных стад, выращенных и сохранных с

¹ Курсали — похитители.

таким трудом, не осталось и половины; разбушевавшаяся стихия размыла дороги и тропы, унесла не одного пастуха...

Полностью уцелело только стадо Кешана Чиладзе, пасшееся на горе Джагорзага. Но спасли его не костры, не пение «Даэргве-ашва», Тагу Зарандиа и его пастухи окружили обезумевший от страха скот и не дали ему разбежаться. Всю ночь, не присев, стерегли они свое стадо, повинувшись указаниям Тагу. Куджи ни на миг не отходил от отца. В темноте на парнишку наскочила испуганная кобыла. Улав, он вывихнул себе руку. Тагу сам вправил Куджи руку и наложил повязку.

— Не туго, сынок?

— Нет...

— Больно?

— Нет...

Что-то странное почудилось Тагу в голосе сына.

— Что с тобой, Куджи?—он поднял голову. — Куда ты смотришь?

Куджи смотрел на дорогу. Три старых пастуха, вооруженные до зубов, направлялись к их единственному уцелевшему шалашу. Сердце замерло у Тагу: что им нужно? Он взглянул на Куджи — и сразу все понял. Куджи искупался вчера в горной речке, а горные воды принадлежат по преданию Михаилу-архангелу, и никто не имеет права осквернять их. И вот разгневался Михаил-архангел, наслал на людей грозу, ливень, ветер. Никому не прощают пастухи обиды, нанесенной горам...

«Это я, я виноват, — пронеслось в сознании Тагу, — почему позволил Куджи искупаться!»

А три старых пастуха все приближаются, неотвратимые, как рок. Повернулись к ним подпаски, оставив работу. Затаив дыхание, стоит Куджи.

«Ах, — зачем я ему позволил!»

Вот пастухи окружили Куджи и повели: один впереди, двое—сзади.

— Куджи, сынок!

Но Куджи уже скрылся из глаз. Подошли подпаски к Тагу и в знак

доблестного поклона склонили головы. Чем еще могли они утешить несчастного отца, как могли ему помочь? Куджи нарушил извечный закон гор, и пастухи не вольны поступить иначе: они и родному сыну не простили бы обиды, нанесенной горам. Ведь пастухи живут милостью гор, не будь гор, не было бы и пастухов. Куджи оскорбил покровителя гор, и они потеряли половину своих стад. Тем самым Куджи заслужил самого сурового наказания, какое только может постигнуть человека: изгнания из родной страны...

Мать не вынесла потери второго ребенка — и вскоре Тагу стоял перед свежевырытой могилой. Сердце мужчины тверже камня. Все вынесет Тагу, что ниспослет ему судьба, лишь бы Вагуриа Сквери был с ним. Он не отпускал его теперь ни на шаг от себя, был для него отцом и матерью, сестрой и братом. А мальчик рос любознательным, ничто не могло укрыться от его зорких, внимательных глаз. Он быстро усваивал все, чему мог научиться от отца и окружающих людей. И Тагу казалось, что этот семнадцатилетний юноша вмещал в себе все тайны природы и всю мудрость, доступную человеку...

Между тем над лесом сгустились сумерки. Впереди, указывая путь, — по-прежнему шел Вагуриа Сквери. «Боже, помоги моему мальчику! — молил Тагу. — Это я сбил его с пути, я помешал выйти на верную дорогу!»

В глухой, напряженной лесной тишине шла тайная, скрытая от людских глаз жизнь. С приближением темноты на все окружающее, казалось, находит покой и мир, но Вагуриа Сквери отчетливо видел, каким ужасом загораются глаза лесных зверюшек перед сильным зверем, слышал, как бьется на дереве птица, попавшая в когти хищника, как беспомощно пищит лягушка в пасти змеи, с каким ожесточенным клекотом бьются из-за добычи две птицы, ударяя друг друга могучими крыльями; видел он

ланей, испуганно выгнувших длинную шею и ждущих опасности со всех сторон; видел шакала, терзающего свою жертву; клыкастого кабана, с громким сопением выбежавшего на охоту; чутко настороженного, трепещущего зайца с поднятыми ушами. В мнимом покое и тишине чащобы, на земле и под землей, в кустарнике и на деревьях, на поверхности болота и в глубине — всюду живые существа боролись друг с другом не на жизнь, а на смерть. А разве сам он, Вагуриа Сквери, не поступает так же, как обитатели лесов? Разве не ведет он на верную гибель этих турецких посланцев?

На их пути простерлось широкое, топкое болото, а над ним — ясное небо и золотое солнце, клонившееся к закату. Вагуриа взглянул на солнце: по нему можно было определить, что верная дорога пролегает по ту сторону болота. Но обойти болото ни справа, ни слева невозможно. Остался один путь: прямо, наперерез. На той стороне росли несколько высоких тополей. Надо срубить один из них и уложить поперек болота вместо моста. Вагуриа Сквери внимательно разглядел трясину. Из болота торчат полусгнившие ветки ольхи и ясеня, остатки стволов. Выдержат ли они его тяжесть? Остальные путники тоже всматриваются в трясину, затем переводят взгляд на Вагуриа Сквери. А Вагуриа поднимает глаза на Тагу: «Да поможет нам бог, отец!»

Юноша нагнулся, засучил и без того короткие штаны, взял у Тагу топор, заткнул его за пояс.

— Осторожно, Вагуриа! — предупредил его Кешан Чиладзе.

Вагуриа не любил пустых слов. Недовольно потрянув головой, дерзко ступил он в болото. Прыгнул на пень, торчащий из трясины, оттуда на ветку, затем на другую, снова на пень, все дальше и дальше, ловко и легко, как козуля. Люди не отрывали от него глаз. Тагу замер, перестал дышать. Земля уходила из-под его ног.

— Берегись, сынок!

А Вагуриа достиг уже середины болота и продвигался дальше. Но на одном пне он задержался: слезающая ветка, на которую можно было прыгнуть, оказалась слишком далеко.

— Прыгай, сынок!

Нет, тут не допрыгнешь. А гнилой пень стал уже расползаться под ногами Вагуриа, он вот-вот погрузится в трясину.

— Прыгай же, сынок, прыгай!

Болото доходит уже до лодыжек Вагуриа, вокруг него колышется и булькает мерзкая, липкая жидкость. Он хочет прыгнуть, но болото уже не отпускает его.

— Лови, сынок! — кричит Тагу и бросает ему конец веревки.

Но веревка коротка, Вагуриа нагибается, чтобы протянуть к ней руку, и погружается до подмышек в трясину. Тогда эту веревку связывают с другой и снова бросают Вагуриа, но болото уже успело сковать ему руки. Теперь видны только расширенные, полные ужаса глаза...

— Отец... — пронесся над болотом истошный, звериный крик, и болотная жижа, отвратительно булькает, сомкнулась над Вагуриа Сквери.

Стон вырвался из груди Тагу, но лицо его ничего не выражало: лучи заходящего солнца глядели в невидящие глаза. Вот бежит за водой, весело припрыгывая, Цау. Вот пастухи ведут Куджи: один впереди, двое позади. Исчезла Цау, скрылся за скалами Куджи, а болото все булькает, черными пузырями поднимает кверху дыхание Сквери.

Тагу видит побелевшие, полные ужаса глаза Сквери, его протянутые за помощью руки, слышит его истошный крик и не может ступить ни шагу: он падает на землю, как подкошенный косой. Кешан Чиладзе склонился над ним, чтобы оказать помощь, но тут же отдернул руку: Тагу был мертв.

Зашло солнце. Тень легла на болото, на неподвижное лицо Тагу Зарандиа.

Михаил КВЛИВИДЗЕ

ОДА СОВЕТСКИМ КОСМОНАВТАМ

Они преодолели все границы,
без всяких виз перелетели через
все части света, через все державы,
все города и все поселки...

Вихрь,
полетом их закрученный в воронку,
верхи деревьев пригibal к земле
и флаги разноцветные посольств
трепал над крышами...

Земля на землю не похожа сверху:
ныряет в океане голубом,
в зыбучей сетке облаков, как мячик
резиновый.. Плывет себе, ныряет,
как мячик взрослых — шаровая мина,
подстерегающая корабли...

Земля на землю сверху не похожа,
хоть явственно видны моря и суша,
поля и реки, горы и леса,
но неприметна лишь одна примета:
не видно государственных границ...
(О, надо было высоко забраться,
чтоб нашу землю увидеть такой!)

Они преодолели все границы,
без всяких виз перелетели через
все части света, через все державы,
все города и все поселки...

Вверх
с надеждой люди пристально глядели,
подставив лица синим небесам, —
прислушивались к трубам отдаленным,
поющим в глубине простора.

Вихрь
верхи деревьев пригibal к земле
и флаги разноцветные посольств
трепал над крышами...

МОРЕ



Ты ведомо всем, ты у всех на устах, ты всеми любимо,
ты — собственность всех! Это правда? А может быть, нет?
А я говорю: — Ты мое лишь, мы неразделимы,
и только мои — ширь твоя, зыбкий цвет, синий свет,
гордыня и сила твоя, и покой молчаливый,
покой говорливый, и — в ответ на страстный призыв —
желание да — это первая клятва прилива, —
горчайшее нет — это клятвы уносит отлив.

Нет, я тебя не понимаю — ты с собою в раздоре.
Я тоже непостижим для себя самого.
Но знаю: когда бы тебя понимал я, о море,
так сильно я не полюбил бы твое волшебство.

Я море люблю на безлюдье, когда ни единой
частицы души любопытным не отдает
и не по-актерски оно широко и пустынно
нумит в средоточье своих одиноких забот.
Как не удивляться его тяжкомысленным взгорьям,
когда мне ясна их непостоянная суть?
Как радуюсь я, что своим ликованием и горем
и не помышляет оно перед нами блеснуть.

Перевод с грузинского А. Тарковского

■ ■ ■

Моя любимая тетя

РАССКАЗ

Перевод с грузинского Г. Какутиа

Калитка расшатана. Длинная скамья под навесом тоже еле держится. Осыпавшиеся желтые листья утапают в грязи. Хризантемы увяли и поникли, отяжелев от дождевых капель.

Опять моросит.

Под деревьями, словно запутавшись в ветвях, стоит маленький каменный дом. С почерневшей от ветхости черепичной кровли скатываются крупные слезы.

На земле, перед лестницей, обкромсанное тупым топором, валяется полено. Кто-то, входя в дом, наследил на ступеньках. У дверей стоят галоши.

Тетя дома!

Осторожно стучусь.

Не слышит.

Стучусь сильнее.

— Войдите!

Изнутри доносится грохот, что-то звенит. Тетя одной рукой открывает мне дверь, другой поправляет на себе бархатный халат.

— Здравствуй, Дарья Михайловна!

Только теперь она взглядывает на меня. Поспешно убирает упавшие на лоб пряди седых волос и улыбается усталой улыбкой. Тетя всегда

старается выглядеть бодрой и жизнерадостной. И теперь высоко поднимает руку, так высоко, что мне кажется, она и сама унесется за ней в воздух. Потом мужественно хлопает меня по ладони и восклицает:

— Как хорошо, как хорошо!

Рука у нее маленькая, худая, словно несколько спиц, обернутых в бархат. Она поднимается на цыпочки, но не дотянувшись до моего лица, говорит:

— Наклонись!

Я наклоняюсь, и она целует меня в лоб мягкими, сухими губами.

— Наконец-то вспомнил обо мне. Как это случилось?

— Не знаю...

Я снимаю плащ, а она, сложив ладони, подносит руку к груди, пятится назад и восклицает:

— Какой ты стал большой, вылитый Карл Миллер!

— Кто такой Карл Миллер, тетя?

Она опять приближается ко мне, кладет руки мне на плечи, глаза ее начинают блестеть.

— Это ты, мой дорогой мальчик! — говорит тетя. — Подожди, не садись. — Она поспешно отодвигает в дальний угол комнаты венский стул с расшатанной ножкой и подает мне другой.

Я сажусь.

Она смотрит на меня и улыбается. Потом вдруг трогает свои волосы и спрашивает:

— Ты извинишь меня, если я немного... — и показывает рукой, — приведу себя в порядок? — Идет к зеркалу, ищет пребешок. — И дэм не убран! Боже, как это со мной случилось! Именно сегодня!

— У вас уютно и чисто.

— О!

Я оглядываюсь по сторонам и замечая, что на письменном столе с книги в черном переплете давно не смахивали пыль. Пыль лежит и на открытках в черных рамках. Эти открытки приобретены в конце двадцатых годов, тогда тетя была студенткой, а я, видимо, еще не появлялся на свет или лежал в колыбели. У открыток какой-то удивительный цвет. Я их видел много раз, но раньше они мне не говорили ни о чем. Теперь, после двух лет пребывания в городе, я вновь рассматриваю их и попутно спрашиваю:

— Это кто?

Тетя держит в зубах шпильки, руки занесены к затылку, она улыбается мне и говорит:

— Это? Конрад Вейдт.

Конрад Вейдт похож на мальчишку. Он небрежно распахнул ворот белоснежной сорочки и от души хохочет.

— А это?

У тети осталась лишь одна шпилька. Наконец и та в волосах.

— Такой снимок я и тебе дала, не помнишь? Гарри Пиль.

— Зверь дядя!

— Ну, ну! — выговаривает мне тетя, грозя пальцем. — Ты ведь знаешь — я этого не терплю.

Мне становится смешно.

— Извини.

Гарри Пиль надвинул на глаза пушистую клетчатую кепку, руки спрятаны в карманы брюк, воротник пальто поднят, и он угрюмо косится на меня.

Следующий снимок узнаю сам. Это — Мэри Пикфорд. А о соседе

Мэри Пикфорд опять придется спросить. Его я вообще вижу впервые.

— А этот?

Тетя мажет помаду, и когда мы встречаемся взглядом, краснеет:

— Ты меня извинишь?

Я улыбаюсь.

— Ну, хватит, не смейся надо мной!

— Я не над тобой, а над этим типом, кто это?

— Игорь Ильинский!

— Как?

Мне и в голову не приходило, что наш любимый толстый дядя «Игорь Ильинский» был когда-то молодым.

Смотрю на него и смеюсь. Круглая маленькая шляпа сдвинута на затылок. Вернее, он так удивляется чему-то, что шляпа сама вот-вот сползет с головы. Потом я роюсь в книгах и снимках, сложенных на столе. Тетя подходит и берет меня за плечи.

— Садись же, тут все тобою пересмотрено, не ройся понапрасну.

И говоря это, она краснеет совсем как ребенок.

— Покажи мне фото «нашего друга».

Тете хочется сделать негодующее лицо, хочется рассердиться на меня, но она опять улыбается.

— Садись, не глуми!

Мне становится жалко ее, и я сажусь, пододвигаясь ближе к камину.

— А как поживает наша будущая невестка? Ты какую настойку предпочитаешь — вишневую или мятную?

— Ни одну не хочется, не беспокойся.

Первого вопроса я будто и не расслышал.

Она треплет меня за волосы.

— Гм, «не беспокойся»! Кто у меня есть, кроме тебя, и о ком мне еще беспокоиться? Принесу и ту и другую. Пей, что по душе.

— Я уже не пью.

Она с упреком смотрит на меня и направляется к шкафу. Стараются как можно расторопней и изящней расставить маленькие прафины, кро-

шечные серебряные рюмки, разри-
сованные тарелки и каду, испечен-
ную к седьмому ноябрю.

— Придвигайся к столу. Инжи-
ровое варенье любишь?

Тетя знает, что я люблю инжиро-
вое варенье.

— Вот, ешь все. Это арбуз, это —
кизил. Сейчас начнем полегоньку со
сладостей, а потом, к обеду, заре-
жу курицу.

— Ну вот еще, курицу!

— А как же! Ты ведь так давно
не был у меня. Почти два года?

— Полтора.

Наливает настойку, ставит передо
мною и опять направляется к шка-
фу.

— Ни к чему не притронусь, если
ты не перестанешь суетиться.

— Сию минуту, сейчас.

Она несет еще что-то, садится
напротив меня и, подставив под но-
ги низенький табурет, прикрывает
худые щиколотки полой халата.

Я произношу тост:

— Да здравствует эта семья и
этот кров!

— «Семья», — с усмешкой повто-
ряет тетя.

Она живет одна, совсем одна.

Утром уходит на работу в район-
ный банк, а по вечерам — полное
одиночество. В комнате совершен-
ная тишина. Часы — и те как-то
бесшумно отстукивают минуты.

На письменном столе стоит гло-
бус. По глобусу красным каранда-
шом проведена кривая от Одессы до
Владивостока. Это — маршрут пу-
тешествий «нашего друга».

Он уехал из Грузии уже много
лет назад. «Черномазый мальчиш-
ка», которому тетя отравляла жизнь,
стал капитаном океанского корабля.
Из Одессы его обычно провожают
очень торжественно. Он стоит на но-
су опломбированного парохода, на нем бе-
лый китель, фуражка с золоченым
околышем, чуть повыше колен свер-
кает кортик с золотой рукояткой.
Сняв белую перчатку, он машет ею
охрипшим от прощальных возглас-
сов провожатым.

Потом Босфор, узкий и сверкаю-
щий Босфор, страстно улыбающие-
ся турецкие красавицы. Потом Су-
эц, обожженные солнцем холмы,
Красное море, пролив с необычным
названием — Баб-эль-Мандеб, бес-
крайний Индийский океан, свире-
пый Сингапур, пестрая Манила, и
везде он — стоящий на носу парохо-
да смуглый мужественный моряк с
грустными глазами, снимающий бе-
лую перчатку и машущий ею в знак
прощания восторженной толпе.

Я поднимаю рюмку:

— За тех, кто в море...

Тетя краснеет.

— За уходящих в дальние рейсы
и все же возвращающихся домой
моряков!..

Тетя краснеет еще сильнее.

— Чего ты шалишь?

Я пью и ее заставляю.

Она отказывается. Только съежи-
вается, словно ей холодно.

— А что нам таиться друг перед
другом?

Тетя улыбается. Дрожащей рукой
берет рюмку. Капли расплываются
на белой скатерти.

— Не так, тетя, смелее!

— Хорошо! — Она высоко поды-
мает рюмку. — За здоровье этого
негодника!

Пьет, ищет, чем закусить, и ча-
сто-часто вдыхает воздух.

— Где он сейчас?

— Во Владивостоке. Ах, обожгла
рот!

— Сколько лет ты не видела его?

— Двадцать третий... Двадцать
три исполнится десятого декабря,
снежным днем.

— Как — снежным днем?

Тетя смотрит на меня так, словно
боится моих расспросов.

Я не отстаю.

— Как — снежным днем? Откуда
ты знаешь, что день десятого декаб-
ря будет снежным?

— Тогда был снег.

— Он ушел?

— Этого еще не хватало!

Я улыбаюсь и опять наполняю
рюмки. Не пью, держу рюмку за

ножку, потихоньку вожу ею по ска-
терти и смотрю на двор.

Около окна — довольно больших
размеров фотография. Это снимок,
вероятно, тридцатых годов. Тетя по-
хожа здесь на парижанку — белая
шляпа, надвинутая на глаза, корот-
ко остриженные волосы, красивый
палец, кокетливо приложенный к
щеке, и надменная улыбка.

Я переносусь на несколько минут
в Тбилиси. Не знаю, почему, но
именно к опере. Мальчишки прода-
ют «Вечерний Тбилиси» и папиросы
«Федерация». Они пронзительно
кричат и путаются под ногами у
прохожих. Вот появляются девушки.
На них прямые белые платья и над-
винутые на глаза шляпы. Они идут
с громким смехом, очень непринуж-
денно, свободно и на виду у всех с
хрустом едят красные яблоки.

— Почему ты ничего не говоришь
о нашей будущей невестке? Вы что,
поссорились?

Я уже не могу делать вид, будто
не расслышал. Киваю головой.

— Из-за чего вы поссорились?

Я рассказываю: так, мол, и так.

Тетя слушает с довольным видом,
улыбается и заглядывает мне в гла-
за.

— Ну, а потом, она что?

Рассказываю об этом.

— А ты что сказал?

Я замечаю, что ее мечтательные
глаза заволоклись дымкой и что она
уже не со мной. Поднимаю рюмку.

— Да здравствуем мы, живущие
надеждой, маленькие люди.

Тетя вздрагивает.

— Как?

— За нас обоих, живущих надеж-
дой...

Хочется сказать «влюбленных», но
почему-то я не решаюсь и повторяю:
«Живущих надеждой маленьких
людей».

Тетя вновь заливается краской и
теребит рукой волосы.

— Ты слишком разошелся.

— Нет, тетя.

— Да, ты смеешься надо мной.

В комнате полумрак. Черный
шкаф, черный комод, у дверей на
стене висит черное пальто, на подо-
коннике — зубной порошок и щетка.
Там же валяются туфли и опрокину-
тая бутылка.

На письменном столе кривая стоп-
ка книг. Из-под тахты виднеется за-
моченное в тазу белье.

Тетя съежилась на стуле — ма-
ленькая, потонувшая в потертом ба-
рхате. На лице, словно мука, следы
пудры, помада намазана небрежно.

Я вновь вспоминаю шумную Одес-
су, узкий Босфор, еще более узкий
Суэцкий канал, пролив со странным
названием Баб-эль-Мандеб, набе-
режные Китая, и на носу парохода
— представительного мужественно-
го капитана-грузина... И задаю тете
еще один вопрос:

— А что, если б ты написала ему?

Ее словно подбросило с места, га-
бурет опрокинулся, и тетя, рассер-
женная, ходит по комнате.

— Как бы не так! Этого еще не
хватало...

Она кусает губы, прячет правую
руку в левый рукав халата, левую —
в правый, и ходит, ходит.

И быстрыми движениями потира-
ет тонкие худые локти...

— Только этого не хватало... Мне-
же еще и упрашивать!..



Сейнер входит в порт

РАССКАЗ

Улов был большой. Только что сделали последний зачет, и тут тоже повезло. Трюм сейнера 177-го Сухумского рыбколхоза полон первосортной хамсой. Палуба завалена. У сейнера получилась та залихватская посадка — нос погружен, а корма приподнята, — которая вызывает восхищение и зависть рыбаков. Любой рыбак за две мили мог видеть, что 177-й взял около пятидесяти тонн хамсы.

А ведь улов вести здесь далеко не просто. Со времен Великой Отечественной войны дно Керченского пролива загромождено погибшими кораблями, пушками, танками, грузовиками. Как-то рыбацкие сети вытянули самолет. Да еще от старых времен остались якоря, на которых когда-то крепили ставные невода. Невдалеке «повисли» два сейнера. Их сети намертво запутались в железном хламе на дне. Обоим придется оборвать драгоценную капроновую сеть и идти на «кладбище». Так рыбаки называют берег возле Керчи, где чинят порванные сети.

Однако сейнер 177 дерзко высypал сеть совсем близко от места аварии и благополучно взял большой улов.

На корме и полубаке обедали. Одни расположились на мокрых сетях, другие обступили небольшой стол и стоя ели горячий борщ, чуть

не обжигаясь. Кто-то вспомнил старинную присказку: «Рыбак должен быть голый, голодный и пьяный!» Времена меняются. На 177-м у «бедных» — простые ручные часы. У остальных — золотые. При погрузке на судно в Сухуми рыбаки несли такие франтовские чемоданы, что просто приятно было вспомнить эту старую поговорку о рыбаках, безвозвратно канувшую в далекое прошлое.

Механик Толик, краснощекий, всегда словно бы задыхающийся от смеха, и его помощник, пожилой тяжеловес с Балтийского флота, степенный и медлительный, принялись за обычное свое занятие: за обедом они всегда рассказывали какие-нибудь истории.

— Видел я однажды в музее голлову циклопа с одним глазом во лбу, — не торопясь, с достоинством начал помощник Толика.

Это было уже слишком! Все запротестовали. Кок Кизим показал согнутый палец: загнул! Толик с набитым ртом прокричал, что циклопа никогда не было, что это существо мифическое, но рассказчик невозмутимо продолжал:

— А в прошлом году я читал в журнале, что одна женщина проглотила двадцать четыре предмета. Среди них были вилки и ложки.

Кок загнул второй палец. Толик орал от ярости. Рыбаки галдели наперейбой. Помощник Толика при-

стально посмотрел на своего начальника.

— Толик, почему ты не веришь, что женщина могла проглотить двадцать четыре предмета? — с укоризной спросил он.

Ни у кого не нашлось слов сказать что-нибудь, воцарилось молчание, и помощник Толика победоносно оглядел всех поочередно.

На сейнере и вокруг него все, казалось, сулило покой и благополучие. И вдруг корабль, стоявший неподалеку, затянуло мглой, откуда-то сверху обвалился непроницаемый туман и мягкой лавиной застлал все на своем пути.

Мгновенно наступила та мертвящая тишина, которая бывает на корабле в минуту большой опасности.

Вот так же в прошлом году все затаили дыхание, когда сеть при выемке рыбы подтянула к самому борту огромную немецкую мину, которая где-то сорвалась с якоря...

В глухом тумане на все голоса завывли сирены трехсотпятидесяти рыбацких кораблей, и разом тревожно затренькали палубные колокола.

Вся рыбацкая армада застыла в неподвижности.

Надо было принимать решение. Собственно, оно могло быть только одно — но о нем даже думать не хотелось. До места сдачи улова — полтора часа пути, и то если идти самым полным ходом. А ведь если рыба пролежит два часа, она пойдет в утиль... на удобрение... первосортная керченская хамса, пятьсот бочек засола!

Надо идти на сдачу. Но как? Не только буи, но даже цветные огни мигалок в двух шагах не видны.

Капитан задумался. В памяти замелькали воспоминания...

Вот он, Иван Рязанов... Пятнадцатилетний юнга — доброволец в военном флоте. Тогда, до контузии, зрение и слух были так остры, что теперь даже самому удивительно. В ту ночь он стоял на корме огромной баржи. Из Геленджика в Сухуми везли не менее пятисот тяже-

лораненых. Ночь была черной-пречерной, но юнга уловил вдали нечто, похожее на небольшое судно. Это нечто могло быть только немецкой подводной лодкой, поднявшейся на поверхность. Сказал матросам. Подняли на смех. Тогда доложил капитану. Капитан поверил. Юнга Рязанов вернулся с капитанского мостика на корму и вдруг сквозь шум винта своей баржи ясно расслышал звук приближающейся мины.

— Мина справа в корму! — не успев даже подумать, неистово закричал юнга.

Капитан поверил и на этот раз и тут же подал команду. Баржа повернула, и в трех метрах от борта с легким жужжанием дважды мелькнуло что-то серебряное.

Через несколько мгновений в черное ночное небо высоко взмыло огромное грохочущее пламя. Вражеская мина угодила в другое судно, которое шло неподалеку и тоже везло раненых.

Из темноты сверху стали падать обломки, щепки и тлеющие обрывки канатов и парусов от погибшего судна.

... Баржа благополучно скрылась и ушла от преследования фашистской подводной лодки. Юнга выиграл литр водки, которую проспорили смеявшиеся над ним матросы, и поил ею раненых. Один из них, капитан дальнего плавания, на радостях подарил юнге отцовскую зажигалку с монограммой, а капитан баржи представил его к награде. И юнгу Рязанова за спасение корабля наградили орденом Красной Звезды.

Много, много военных ночей провел потом юнга Рязанов, пока стал матросом, а потом рулевым. Почти ни одной ночи не удалось пройти без обстрела, но особенно памятной была ночь, когда разорвалась бомба с вражеского самолета, и рулевого Рязанова швырнуло метров на десять...

Прошли целые годы учебы и работы на море, пока Иван Кузьмич

Рязанов стал капитаном Сухумского рыбацкого сейнера 177.

Капитан очнулся, тяжело вздохнул и резко повернул ручку сигнала в машинное отделение.

— Самый полный вперед!

Теперь вся надежда только на память... Линия, обозначающая на карте узкий фарватер, ведущий в Керченскую бухту, вся изломана то под прямым, то под острым углом. Фарватер пролегает между скалами, мелями и затонувшими кораблями. Еще и теперь водолазы ведут подводные подрывные работы по уборке затонувших судов.

Глядя на картину дна по эхолоту, ориентируясь по времени и компасу, капитан должен на память определить, вернее, вспомнить, где он находится, когда и какой будет следующий поворот.

У сейнера вес крупного паровоза. Значит, на каждом повороте, без опоздания в секундах, надо дать «стоп!», «полный назад!», чтобы преодолеть инерцию движения и только тогда брать направление вперед.

И еще: будет сносить течением, ведь корабль имеет тридцать метров в длину.

«Помнишь ли ты, хорошо ли помнишь рельеф дна? Точки поворотов?» — в сотый раз спрашивал себя капитан.

Сейнер вслепую несет самым полным ходом.

Кто знает, может быть, остаться у входа в фарватер было бы еще опаснее... В толчее кораблей почти неизбежно столкновение. Сигнальных огней на мачте не видно даже с палубы, только слабое перламутровое сияние. Не видно и бортовых огней.

Члены экипажа молчат. Никто не смеет произнести ни одного слова — нельзя отвлекать капитана. Только шум волн и дрожание палубы показывают, что корабль идет со всей возможной для него скоростью.

Вкравшиеся сомнения вызывают дрожь по всему телу. В случае аварии помощи в этом тумане ждать неоткуда. Следовательно, надо отключить посторонние мысли и думать только о деле... только о деле... Рельеф дна. Компас. Время.

Вот в левом углу ленты эхолота появились контуры скал. Здесь в прошлом году тяжеловесное груженое судно из Болгарии село на камни. Пришлось полностью его разгрузить.

Капитан берет круто вправо.

Вблизи рев сирены. Заблудившийся сейнер шел поперек фарватера прямо на подводные скалы. За ним второй. Оба едва ли не ощупью пристроились в колонну за 177-м.

Теперь капитан Рязанов рискует не одним сейнером, а тремя...

... Прошло девяносто минут. Сейнер чуть не ткнулся носом в причал. Сигнальный звонок. Машина заглохла. С берега, из молочной мглы, кричали перепуганные голоса:

— Как вы пришли?

— Как, каким чудом?

Капитан Рязанов добрался до своей каюты и упал на диван. В изголовье стоят два Красных Знамени. Красный шелк расшит золотом. Золотая бахрома спускается к подушке капитана.

Уже второй год сейнер 177 держит эти два переходящих знамени. Одно от рыбпрома Грузии, второе — от Сухумского рыбколхоза.

Капитан Рязанов — стройный худощавый человек с узким лицом, густыми ресницами и глазами цвета морской волны. Выглядит он лет на пятнадцать моложе своего возраста. На голове у Ивана Кузьмича пышная шевелюра, выгоревшая от морского солнца и ветра — того льняного цвета, который так любят некоторые наши модницы.

Но если рассмотреть поближе, можно заметить, что местами очень уж светлые волосы у капитана... Это седина, которая так редко бывает у блондинов.

Серго ПХАКАДЗЕ

Дорога и сердце

РАССКАЗ

Перевод с грузинского М. Гельви

I

В кабинет директора осторожно заглянула черноглазая девушка:

— Можно? — спросила она.

— Войдите!

Девушка вошла, поздоровалась, достала из книги сложенный лист бумаги, развернула его и, улыбаясь, подала директору.

В глазах и голосе девушки было столько задора и радости, что директор, слышавший на заводе строгим и хмурым человеком, не мог сдержать улыбки. Понравилось ему и заявление, написанное красивым почерком. Он читал и все улыбался. А девушка тем временем с любопытством осматривала комнату и письменный стол.

— Садитесь! — предложил директор.

— Ничего, учитель, я постою! — ответила девушка и вдруг покраснела.

— А вы не ошиблись, — поторопился успокоить ее директор, — я, действительно, был когда-то учителем и горжусь этим.

Девушка прижала ладони к покрасневшимся щекам и уже смелее произнесла:

— Я только позавчера окончила школу, товарищ директор...

Директор положил заявление девушки на стол.

— У нас на заводе есть и учителя и ученики, — сказал он. — Одни учат, другие учатся. Многие получили дипломы инженеров, уже работая здесь.

Наступило молчание. Слышалось только тиканье настольных часов.

— А как вы окончили среднюю школу? — прервал молчание директор.

— Вот, пожалуйста, мой аттестат.

— Аттестат зрелости, — торжественно прочел директор и пробежал взглядом отметки. — Молодчина! Пятерки, чет-

верки... а все-таки затесалась одна тройка. Почему? Географию не любили?

Девушка пожалала плечами.

— Любила... Но не всегда успевала, у меня много времени отнимал спорт. Я занималась художественной гимнастикой и баскетболом.

— Так, так... Значит, решили изучить профессию автомобилиста? А что говорят родители?

— Папа доволен. Вы, верно, знаете его.

Директор заглянул в заявление.

— Дарахвелидзе. Вы дочь Сандро? Лена?

— Да.

— Очень приятно. Ваш отец у нас на хорошем счету. Механик он опытный, деловой. — Директор улыбнулся. — Только немного ворчливый.

— А мама сердится, — продолжала девушка. — Она говорит, раз в институт не попала, поступай в технические секретари, в управлениях. На заводе, мол, девушке работать не подобает.

— Неправильно ваша мама рассуждает. У нас на заводе много девушек и чувствуют они себя отлично. А почему вы выбрали именно цех шасси?

— Там работают мои подруги. На зуборезных станках. Я думаю, с ними мне легче будет овладеть профессией и быстрее.

— Вы комсомолка?

— Да.

II

— Как ваша фамилия? — спросил девушку начальник цеха шасси Амиран Херхеулидзе.

— Дарахвелидзе, — ответила Лена.

Начальник цеха улыбнулся, поздравил мастера Геленидзе.

— Нашего полку прибыло, знакомьтесь. Дочка Сандро... Хочет работать у нас. Вы, Владимир, будете ее учителем. Сделайте из нее хорошего зуборезчика и фрезеровщика.

— Это не только от меня зависит, товарищ Амиран, — ответил Владимир Геленидзе. Потом поглядел на Лену и сказал: — Если не побоятся трудностей, месяца через два-три, думаю, выучится.

Лена утвердительно кивнула головой. Конечно, не побоятся. Потому и пришла сюда, что здесь трудно. И интересно.

— Идем, дочка, принимайся за работу, — просто обратился к ней мастер.

Когда Лена в сопровождении Владимира Геленидзе вошла в цех, все парни так и уставились на нее.

— Славная горлица залетела к нам! — пошутил один, — но и ястребки не ударят в грязь лицом.

— Черта с два останется она здесь работат! — возразил другой. — Экскурсантка, верно, пришла цех посмотреть!.. Или хочет справочку для института. Получит, соберет свои манатки и поминай как звали!

— Ну зачем человека смущаете? Чего тарашитесь? — не выдержала Цицино Гоглава.

Парни расхохотались.

— Хлебом вас не корми, только бы позубоскалить! — продолжала Цицино. — Лучше за дело беритесь!

А Лена была уже возле зуборезного станка. Геленидзе знакомил ее с рабочими-соседями, рассказывал об устройстве станка, о технике производства. Потом велел ей понаблюдать за станком, присмотреться, как он работает. Новая ученица внимательно слушала мастера, ловила каждое его слово. Ей так и хотелось потрогать, погладить каждую деталь станка. Мастер едва сдерживал улыбку. Будет из девушки толк, будет! Дайте только срок.

За час до окончания работы он отпустил Лену.

— Смотри, не опаздывай завтра! Чтоб к восьми была.

— А можно мне подойти вон к тем девочкам? Они в прошлом году окончили нашу школу.

— Отчего же, подойди. Уж если в школе дружили, здесь и подавно дружить надо.

Только Лена отошла, как Геленидзе кто-то окликнул:

— Здравствуй, Владимир!

— А, это ты, Сандро! — приветливо отозвался Геленидзе. — Что, волнуешься? Не бойся. Дочка твоя, видать, любознательная, энергичная. Будет из нее хороший специалист.

— Два раза заходил в цех, — смущенно говорил Сандро, — глядел издали. Ты уж... ну, да не мне тебя учить!..

Не зря уважали на заводе мастера Геленидзе. Многих начинающих обучил он делу. Вначале был не в меру строг, даже груб. На цыпочках перед ним ходили. А потом — понял: добрым словом большего добьешься. И его полюбили.

В другом конце цеха весело разговаривали подружки.

— Меня будет обучать Геленидзе, — сообщила Лена. — Что он за человек?

— Очень хороший. Дядя Волода заботится о нас, как родной, — сказала Маринэ. — За этот год, благодаря ему, мы так стали работать, что от старых рабочих не отстаем.

— Но однажды я на работу опоздала, — перебила ее Мзия. — Ох, и досталось же мне от дяди Володи!

На следующий день Лена явилась на завод очень рано и надраила свой станок так, что он заблестел, как новенький. Пришел мастер, сразу же заметил это, улыбнулся и, как старому товарищу, подал Лене руку. Первое свое задание девушка выполнила точно, и мастер остался ею доволен.

Ежедневно Лена приходила в цех за десять—пятнадцать минут до начала работы. Переодевалась в комбинезон, чистила станок, приводила в порядок свое рабочее место, приготавливала инструмент. Она уже освоилась с работой. Ей не терпелось выполнять операции потруднее.

Только раз мастер остался ею недоволен. Это случилось, когда о Цицино Гоглава, которую называли «красой цеха шасси», написали в газете — ее рационализаторские предложения дали большую экономию цеху. И денежную премию получила Цицино. Все ее поздравляли. Лена тоже захотела поздравить. Мастера в цехе не было. Она остановила станок и подбежала к подруге. А когда вернулась, увидела на своем месте Геленидзе. До сих пор не забыть ей строгого, хмурого лица мастера.

Через два месяца Лена освоила профессию зуборезчика. То-то была радость! Девушке полностью доверили станок. С гордостью разложила она на столе обработанные детали и подбежала к Геленидзе.

— Теперь уже никто не скажет, что я ребенок и живу на иждивении родителей?

— Конечно, нет! — радуясь вместе с ней, ответил мастер.

И еще один день запомнился Лене, когда впервые встрепенулось ее девичье сердце. Геленидзе отлучился из цеха. Лена обычно радовалась его уходу — меньше опеки. Она считала себя уже опытным зуборезчиком, была внимательна, осторожна в работе. Но тут вдруг ос-

тановился станок, и она растерялась. Ей подумалось, что отключили ток, но вокруг все гудело, как обычно. Конечно, можно было позвать на помощь кого-нибудь из товарищей, но ей почему-то было стыдно, и она не решилась.

В это время кто-то громко спросил:

— Что случилось, девушка?

Лена обернулась и увидела за собой высокого черноволосого парня. Он так открыто, так славно улыбался, что она смутилась, еще ниже склонилась над станком и, не поднимая головы, сказала:

— Разве у вас дел нет? Идите своей дорогой!

— Зря гордитесь! Это нехорошо. Не знаете, спросите у других. Вы же новенькая. Ну-ка, разрешите мне.

Он быстро устранил неполадку в станке, а потом объяснил, в чем было дело. Лена уже жалела, что была с ним груба. Но он, видно, не обиделся.

Когда парень ушел, около Лены сразу же появился отец.

— О чем этот мальчишка с тобой говорил? — строго спросил он.

Лена рассказала.

— Когда нужно, обращай к своим соседям, — недовольно проворчал Сандро, — нечего заводить всякие знакомства.

Лена промолчала, но удивилась. С чего это отец разозлился?

После работы она шла домой и все искала этого парня среди других. Вспоминала весь их разговор и как он улыбался. Но его нигде не было. Лена думала, что дома отец опять заговорит о нем, однако разговор был другой.

Когда мать Лены, Нина, насмешливо спросила мужа: «Ну как, твоя доченька уже прославилась?», — Сандро, думая о своем, молчал. Сегодня он видел рядом с Леной Зураба Вардосанидзе. Не хватает еще, чтобы она с ним подружилась. Сандро вспомнил свою стычку с Зурабом. Мальчишка критиковал его изобретение. А теперь, оказывается, сам что-то изобретает. Кажется, его же изобретение переделывает. Молокосос!

— Ты что, оглох? — громче спросила жена. — Я спрашиваю, прославилась уже твоя доченька?

Лена затаила дыхание. Что-то он ответит?

— Успокойся, Нина, — сказал Сандро, — Лена идет по правильному пути. Нам за нее краснеть не придется.

Лена хотела обнять отца, расцеловать его, но почему-то не сделала этого, а вскочила и быстро выбежала из комнаты.

— Когда девушка, окончив одиннадцать классов, напяливает на себя рабочий комбинезон, — тем же тоном продолжала Нина, — это просто несчастье. А ты говоришь — «краснеть не придется»! Тебе что, не хватает сына рабочего?

— Ну что ты брюзжишь? Наш Бондо — гордость завода.

— Подумаешь — гордость завода! Я нашла твоей дочери такую прекрасную работу, место управделами в артели, разве это не лучше, чем у станков мараться?!

— Эх, Нина, Нина, никак не пойму, ты будто женщина умная, а что говоришь...

— Я другого хотела для своей дочери, другого! — сокрушалась она. — Ну скажи на милость, для чего мне ее зарплата? Разве не лучше, чтобы говорили: дочь Дарахвелидзе окончила философский факультет!

— Философский это как сказать, а вот автотранспортный — другое дело. Его моя дочь обязательно окончит.

Как бы завершился этот спор, неизвестно, но вошла Лена.

— Я иду в клуб, — сказала она. — Домой меня проводит Бондо.

На другой день цех шасси получил новый заказ. Нужно было освоить ведущие шестерни заднего моста автомобиля. Это задание дали бригаде Геленидзе. А через неделю в цехе появился приказ директора: за быстрое и хорошее освоение конусной зубчатки всей бригаде объявить благодарность. Портреты особо отличившихся рабочих были вывешены на цеховой доске и напечатаны в заводской газете. Лену Дарахвелидзе поздравляли с первой производственной победой.

III

Однажды во время перерыва Лену вызвал к себе начальник цеха. Лена осторожно открыла дверь кабинета и попросила разрешения войти. Амиран Херхеулидзе встретил ее приветливо, но девушка все же растерялась. В кабинете сидел тот высокий плечистый парень, который однажды наладил ее станок. Потом они виделись несколько раз мимоходом. Один раз юноша даже поздоровался с ней. И вот он здесь, рядом.

— Вы знакомы? — спросил Херхеулидзе.

— Так, издали, — улыбаясь, ответил юноша.

— Издали? Этого недостаточно. Нужно познакомиться поближе. Лена Дарахвелидзе — дочь нашего Сандро, а это новатор механического цеха, токарь, член комитета комсомола Зураб Вардосанидзе!

Потом Херхеулидзе спросил Лену: — Почему вы до сих пор скрывали, что хорошо играете в баскетбол?

Лена улыбнулась.

— Не кричать же мне, что я баскетболистка. Об этом знали директор и мои

подруги из нашего цеха... А потом, наша заводская баскетбольная площадка в таком состоянии...

— Об этом не горюйте! Через неделю будет и площадка и команда.

— Тогда пожалуйста! Я очень люблю баскетбол.

— Значит, договорились, — заключил начальник цеха, — начнете тренироваться в команде... И будет хорошо, если можете Зурабу в благоустройстве площадки.

— С удовольствием! — ответила Лена и встала.

— Я найду вас, Лена, — с улыбкой сказал Зураб, — и скажу, когда приступим к делу.

Как только Лена вышла, Херхеулидзе задумчиво произнес:

— Хорошая девушка. Приходит на работу раньше всех. Станок у нее всегда блестит, как зеркало. Эх, будь у меня неженатый сын, взял бы я ее в невестки!

— Взяли бы, если б пошла! — засмеялся Вардосанидзе и, попрощавшись, вышел из кабинета.

В цехе шасси после перерыва работа особенно оживилась. Час назад агитаторы ознакомили рабочих с письмом коллектива Уральского автомобильного завода, который вызывал их на социальное соревнование. Рабочие, инженеры и техники взяли на себя новые обязательства.

После работы, когда Лена шла по дороге к выходу, ее окликнул Зураб.

— За вами не угонишься! — сказал он.

Девушка замедлила шаг. Долго шли молча. Оба чувствовали, что встреча эта необычна, радовались тайне и стеснялись друг друга. Наконец Зураб выпалил первое, что пришло ему на ум:

— Дядя Сандро на меня обижен!

— Почему? — быстро спросила Лена.

— Я его изобретение критиковал. Вернее, на совещании раскритиковали, и теперь... Да вы, наверное, знаете об этом!

— Нет, ничего не знаю.

— Я высказал на совещании свое мнение, а Сандро обиделся. Теперь и здороваться не хочет.

— Значит, действительно, вы его обидели. Он ведь добрый, хороший.

— Может быть, тогда я и, правда, был резок, а теперь вот жалею.

— Теперь? Почему именно теперь?

— Почему? Скажу откровенно. Вот мы встретились с вами сначала случайно. А дальше будем встречаться уже не случайно: станем благоустраивать баскетбольную площадку, потом начнутся тренировки. Мы, может, подружимся и часто будем ходить по этой дороге вместе. Что тогда скажет Сандро?

Лене нравилась прямота Зураба.

— Я не знаю, что скажет отец, — ответила она, — но... какое это имеет значение для нашей дружбы? — И вдруг, подумав, что ее ответ можно истолковать иначе, поторопилась пояснить: — Нас ведь дело объединило, не так ли?

— Ну, конечно. Но если бы вы не захотели, я бы не шел сейчас рядом с вами. Словом, все от вас зависит.

— Мы будем встречаться, если дело потребует, — строго сказала Лена.

У дома она попрощалась с Зурабом, вошла в подъезд и неожиданно услышала за спиной:

— Лена, будем друзьями!

Девушка оглянулась, кивнула и, улыбнувшись, вбежала в дом.

IV

Зураба с детства привлекала профессия токаря. Его отец работал на Тбилиском станкостроительном заводе и оборудовал у себя дома, в подвале, маленькую мастерскую, чтобы с детства приучать детей к труду. Много времени проводил в ней Зураб. Придет из школы, приготовит уроки и — в подвал. Мастерит что-нибудь или точит ножи и ножницы, починает, что попросит товарищи. Но мечтой его были самолеты и автомобили.

В тот год, когда он окончил восемь классов, в Тбилиси открылось ремесленное училище по подготовке рабочих для автомобильного завода. Вместе с документами Зураб принес в училище сконструированный им маленький грузовой автомобиль.

По окончании ремесленного училища юноша попал в механический цех Кутаисского автозавода и поступил в школу рабочей молодежи. Жил в общежитии. По вечерам ребята делились впечатлениями дня.

Особенно любил Зураб цеховые производственные совещания. Здесь находил он ответы на свои творческие искания. Нравилось ему, что нужно не только хорошо работать, но и изобретать свое, новое. На совещаниях выступали все. Когда разбирали рационализаторские предложения, небу становилось жарко от горячих споров, особенно — молодых со старыми опытными рабочими. Всегда восхищался Зураб ветеранами труда — Кузьмой и Сандро.

Со временем и Зураб начал принимать участие в спорах. Краснел, смущался, но упорно отстаивал свое мнение. А потом случилось так, что он вместе с другими забраковал изобретение Дарахвелидзе.

Прошло три года. Зураб стал мастером своего дела. Увеличивался объем выпу-

скаемой им продукции, улучшалось качество.

Окончив школу рабочей молодежи, Зураб все свободное время отдавал изобретательству. Его не удовлетворял существующий технологический процесс. Хотелось найти новый ускоренный метод обработки металла. И вот однажды родилась мысль об изменении операции. Буквально за несколько дней сделал он чертежи и высчитал, что от внедрения его предложения вдвое повысится производительность труда, сократится время обработки деталей и улучшится их качество.

Зураб долго никому не рассказывал о своем изобретении. Еще и еще раз, просиживая дома вечерами, тщательно проверял он свои чертежи и расчеты. Казалось, все верно. И вот он у начальника цеха. Тот внимательно выслушал парня, многое одобрил. Потом вызвал Дарахвелидзе, чтобы он разобрался в чертежах. Искоса поглядывая на чертежи, Сандро терпеливо выслушал Зураба. Ему тоже понравилась мысль юноши, но об этом он умолчал.

— Торопишься, мой друг, торопишься, — шуточно сказал Сандро, возвращая Зурабу чертежи, — всего три года, как у нас работаешь, куртку ученическую еще не сносил, а уже изобретатели метишь? Рановато!

Начальнику это не понравилось.

— Не беспокойтесь, — холодно обратился он к старому мастеру, — в этом вопросе мы разберемся сами. — И повернулся к Зурабу. — Зайдите ко мне после работы.

Сандро вспылил:

— Изобретение — дело хорошее. Но изменить старую технологию далеко не так просто, как это думают некоторые!

И вышел из кабинета.

V

Через три дня Зураба вызвали к директору завода. «Наверное, узнал, что вчера на совещании я критиковал Сандро Дарахвелидзе... Ну и пусть наказывает, как хочет, весь цех знает, что я прав», — думал Зураб, подходя к управлению завода. У входа в здание ему загородил дорогу Сандро.

— И не стыдно тебе, донес на меня директору!

Зураб опешил:

— Даю вам слово, я ни в чем не виноват! — взволнованно воскликнул он, — я никогда не говорю за спиной! Все, что было на душе, я высказал на совещании вам в лицо!

— Значит, это Георгий?

— Не знаю... На эту тему я с Георгием не говорил. И с директором не встре-

чался... Сейчас иду к нему, вызвал, а зачем, не знаю.

Сандро пропустил Зураба и крикнул ему вслед:

— Если обо мне что-нибудь спросит, не подставляй ножку! Хватит и того, что меня в должности понизили.

Горе старого Дарахвелидзе больно отозвалось в сердце юноши. «Если директор будет в хорошем настроении, попрошу его отменить этот приказ», — думал по дороге Зураб.

В кабинете, кроме директора, был еще и секретарь парторганизации механического цеха Георгий. Поздоровались, предложили стул.

— Как дела в институте, Вардосандзе? — спросил директор. — Задолженностей с первого курса не осталось?

— Нет, все предметы у меня сданы... И в институте заинтересовались моим изобретением. Кажется, оно им тоже нравится.

— Поздравляю! Между прочим, должен тебе сказать, что метод ускоренной резки металла, который ты разрабатываешь, внедряется сейчас на Средневожском станкостроительном заводе, — сообщил директор, — и во главе этого дела стоит известный новатор Василий Колесов. Предлагаемый тобой технологический процесс приблизительно такой же, как у Колесова. Этот метод вызвал большой интерес у машиностроителей всей страны. Вот мы и хотим командировать тебя на один месяц к Колесову. Поедешь?

Зураб встал. Сообщение директора ошеломило его. Значит, опередили! Кто-то сделал то, на что он, Зураб, потратил столько месяцев, столько тревожных дней и бессонных ночей!

— Что придумался? — спросил директор.

— Если нужно, поеду, — с трудом выдал из себя Зураб.

— Нужно, нужно! И не огорчайся. Что делать, опередили тебя, ну и что ж. Поедешь, познакомишься с Колесовым, это многое даст.

— Понятно, товарищ директор. А как же завтрашнее обсуждение моего изобретения? Уже не состоится?

— Обязательно состоится. Иди, подготовься.

По дороге домой Зураб думал: «Как все странно сложилось. На завтрашней конференции опять все будет против Сандро, а я люблю его дочь. И не только люблю, жизнь за нее готов отдать... А может, Сандро прав? Может, мое изобретение гроша ломаного не стоит?... А что, если Сандро просто мстит мне? Как вести себя по отношению к нему? Что делать?»

Обедать не хотелось и, чтобы забыть-ся, Зураб лег спать. Но и заснуть не мог.

Тогда опять занялся чертежами. Глядел на них, а видел перед собой Дарахвелидзе. Он отложил чертежи и тут вдруг вспомнил: в семь часов тренировка женской баскетбольной команды! Зураб бросил все, переоделся и помчался в спортзал. Там на снарядах тренировались гимнасты. Посреди зала боролись чемпионы — борцы. Зураб глядел на них, и в то же время через окно видел площадку, где уже собрались баскетболистки. Но Лены не было видно. А если совсем не придет?

Вскоре раздался свисток, и стройные фигуры девушек в красных майках расположились по своим местам. Зураб вместе с другими пошел на площадку и сразу встретился взглядом с Леной. Быстрая, легкая, она точно передавала мяч. Зураб глядел на нее, и на душе становилось спокойно, тепло и радостно.

После игры он хотел подойти к девушке и рассказать ей все, все. Но передумал. И сразу почувствовал, что очень устал за эти дни, все стало как-то безразлично, и он поспешно ушел домой.

VI

В красный уголок механического цеха, где должно было состояться обсуждение изобретения Зураб Вардосанидзе пришел первым. Разложил на столе чертежи, еще раз просмотрел их. Вскоре собрались рабочие — новаторы, инженеры, руководители завода. Многие заранее поздравляли Зураба с победой. А он нервничал и каждый раз оглядывался на скрип двери — не пришел ли Сандро. Но Сандро не появлялся, зато пришла Лена и, ободряюще кивнув издала, уселась в сторонке, у самой двери.

Совещание началось. Тихо, робко, а затем все громче и увереннее звучал голос Зураба. Он рассказывал о своем изобретении и о Василии Колесове.

— Товарищи! Я только вчера узнал, что на Средневожском станкостроительном заводе уже внедряется этот метод. Его предложил товарищ Колесов, — тут Зураб запнулся и продолжал глухим, чуть осипшим от волнения голосом: — Когда мне сказали о Колесове, я подумал, что мне выступать на этом совещании не стоит, но администрация решила иначе. Сейчас меня командировают к товарищу Колесову. Познакомлюсь с его методом. Может, между нашими изобретениями есть разница!

— Колесов и без тебя отлично себя чувствует! — раздался громкий голос Сандро.

Зураб замер. Наступила тишина. Нужно было что-то ответить, а он молчал. Язык словно прилип к небу. Громко

скрипнула дверь, Зураб оглянулся и увидел, как из комнаты выбежала Лена.

— Не ожидали мы от вас, такого, Сандро, — сказал секретарь партбюро, — если хотите высказаться, не выкрикивайте с места, подойдите поближе.

— А что мне высказываться, — упрямо продолжал Сандро, — сам же признался, что повторил чужое изобретение... Это обсуждение нецелесообразно! — неожиданно закончил он.

— Нет, вы не правы! И мы вам очень скоро это докажем, — возразил секретарь. — У нас на заводе немало талантливых парней, в том числе и Зураб Вардосанидзе! Каждому из них мы обязаны помогать, по-деловому поддерживать их новаторскую инициативу. А с вами, видимо, придется говорить обо всем этом отдельно!

Что было потом, Зураб плохо помнит. Выступили несколько человек, спорили, хвалили его, а он сидел не шелохнувшись и только думал: «Может, вообще не пошлют к Колесову?»

Когда он выходил из цеха, на Дарахвелидзе даже не взглянул. Жадно глотнул свежий воздух и пошел по дороге. Его окликнула Лена. «Наверное, хочет извиниться за отца», — подумал Зураб и ускорил шаг.

— Зураб, подожди! — крикнула девушка. Но он, будто и не слышал, быстро шел к проходной.

Дома настроение его резко изменилось. «Ну зачем я нагрубил Лене? При чем она?» — досаждая на себя, думал Зураб. И неожиданно волна нежности к Лене захлестнула сердце. Он сел к столу, стал писать ей.

«Лена! Я был очень расстроен. Если можешь, пойми и прости. Я сегодня многое пережил, ты должна понять это, — писал Зураб. — Если скажу, что не ожидал удара, это будет неправдой. Я ожидал, и как раз с той стороны, откуда он был нанесен.

Хотел видеть тебя до начала обсуждения. Если бы ты не присутствовала на нем, было бы лучше. Я люблю тебя и всегда буду любить. Прости. Завтра я уезжаю. Прощай. Твой Зураб».

Когда письмо было отправлено, на сердце стало легче. Теперь мучил только один вопрос: придет ли девушка проводить его?

На следующий день Зурабу выдали командировочные и напутствовали перед отъездом. Он пришел на вокзал рано. Провожающих еще не было. Но ничего, они-то придут. А вот придет ли та, которая ему дороже всего на свете? Зураб невольно поглядывал на часы. Казалось, они остановились. Но ведь еще рано. Она придет. Конечно, прилет.

Вот идет по перрону друзья. Девушки принесли на дорогу имеретинские хача-

пури и фрукты. Одна преподнесла букет ярких цветов. А Лены нет! Обо всем уже переговорили. А Лены все нет. До отправления поезда осталось несколько минут. Друзья попрощались с Зурабом и ушли. Повиснув на поручнях вагона, Зураб напряженно вглядывался в толпу. Чего только не передумал он за эти несколько секунд! Не любит?.. Хочет наказать за грубость?.. Не верит?.. И вдруг — он увидел Лену. Она бежала прямо к его вагону. Зураб спрыгнул с лестницы и протянул раскрасневшейся девушке руки.

— Пришла, все-таки пришла, — взволнованно повторял он, — как я тебе благодарен, Лена! Теперь я уеду спокойно!

— Зураб, — тихо сказала Лена, — поверь мне, отец не злой, он добрый человек. Я боюсь, что ты возненавидишь его.

Глаза девушки наполнились слезами.

— Лена, родная, не плачь, — уговаривал Зураб, — как я могу возненавидеть твоего отца! Да я... вот вернусь, и все уладится, увидишь!

Поезд тронулся. Лена быстро оглянулась по сторонам и поцеловала Зураба в щеку. От неожиданности он растерялся. Потом вспрыгнул на подножку вагона. Лена крикнула вслед:

— До скорой встречи, Зураб, буду ждать!



Валентина БАЛУАШВИЛИ

О дружбе большой и верной

В строй книг, занявших уже свое место на книжных полках государственных библиотек и маленьких личных, куда ставятся только самые любимые, избранные, — уверенно встал сборник новелл-воспоминаний Николая Тихонова «Двойная радуга»¹. Много в нем уже знакомо по прежним публикациям в журналах. Но тем не менее, сколько нового, свежего, интересного, поэтического дает он читателю, с новой силой пробуждая в нем все самое лучшее, чистое, благородное. Невольно каждый ищет в сборнике то, что ему особенно близко и дорого. Я, как и многие тбилисцы, несколько раз перечитывала страницы, посвященные моей родине — Грузии, Кавказу. И каждый раз неожиданно открывала для себя то, что при первом чтении осталось незамеченным. По аналогии в памяти всплывали другие встречи Николая Семеновича с грузинскими писателями и поэтами, вспоминались его очерки, рассказы, стихотворения о Грузии.

Так родилась эта статья о верной и большой дружбе замечательного нашего поэта-современника с грузинской литературой, с грузинскими поэтами.

* * *

У Николая Семеновича Тихонова есть незаслуженно забытое стихотворение «Горец». Это проникновенный рассказ о том, как русский поэт побратался кровью с «горцем», маленьким бурливым ручьем, и горами Кавказа.

...Ты, горец, прав! Клинок я выну,
Я буду верный брат горам!

Пускай на рану льет отвесно
Простая горная струя —
Пускай сольется с кровью трезвой
Кровь опьяненная моя.

¹ Николай Тихонов. «Двойная радуга». Советский писатель. Москва. 1964.

И горы, прочитавшие в тайниках души поэта его сокровенную думу — «если бы я родился в горах, я был бы счастливым человеком», — побратались с ним. Они открылись ему так, как чудесный мир природы открылся Миндии. Поэт научился постигать их звучание, похожее на «гигантский хорал, слышный только посвященному», видеть вечерами, «как играет огромный мир горного заката», улавливать неведомые другим изменения в горах, потому что «утром и ночью они разные, они могут быть страшными и нежными, в них живут тысячи оттенков»...

«Горы обступали поэта со всех сторон... Горы были спутниками его вдохновений, его радостей и бед...» Кажется, будто это сказано о Тихонове. Но нет, это он сам говорит о вдохновенном певце гор — Важа Пшавела. Может быть, именно любовь Великого Пшавы к горам, торжественный гимн им, звучащий в его поэзии, побудили русского поэта пристальней взглянуть в нее, проникнуть в ее глубины. И там, неожиданно для себя, он обнаружил столько прелести и обаяния, искренности и огня, столько созвучного своей душе и сердцу, что Важа Пшавела сразу же стал для него «чудесным другом», одним из самых близких и дорогих поэтов.

«Герои Важа зовут к подвигам во имя свободного человеческого духа, торжества дружбы народов, во имя служения высшей правде. Они встают на защиту отечества — пламенные патриоты, не дорожащие собственной жизнью для победы... Они — богатыри, но превыше всего ставят мир и труд на пользу всем людям», — писал Николай Семенович в своей статье о Важа Пшавела, «Певце высоких доблестей».

Высотой и благородством идеалов привлекут к себе русского поэта и другой певец гор — Александр Казбеги. «Он одухотворен борьбой за достоинство человека, за справедливость, за героизм и самые высо-

кие идеалы дружбы и любви. Недаром его герои живут и дышат воздухом высот. Символично, что название великой горы, второй по высоте в Кавказском хребте, одноименно с именем великого писателя».

Так говорил Николай Тихонов, выступая от имени Союза советских писателей в дни, когда отмечалось столетие со дня рождения Александра Казбеги. И вот перед читателем мужественные, страстные и настойчивые в достижении цели, верные народной правде, герои Тихонова, действующие, подобно героям Важа и Казбеги, в неприступных горах. Один из них — пламенный революционер и строитель новой жизни Серго Орджоникидзе. «Великая жизнь, которую он создавал и организовывал своими добрыми руками, передаст в руки грядущих поколений его благородное имя, и оно в песнях и рассказах, в преданиях и легендах снова и снова будет с нами и в наших боях, и в наших победах», — писал Николай Семенович в скорбный день 19 февраля 1937 года, когда вся Москва оделась в траур, узнав о гибели Серго Орджоникидзе.

Один из рассказов о нем создал сам Тихонов. Его поэма «Серго в горах» силой большой человеческой правды и художественного мастерства оживила примечательный эпизод революционной биографии Чрезвычайного Комиссара гор.

Николай Семенович рассказал мне однажды, как он собирал в горах материал для поэмы: «...Я проникнул, — говорил он, — в самые глухие уголки Ингушетии. Неожиданно для себя я шел тем же путем, которым шла в горы революция, шел в 19-м году Серго Орджоникидзе. Я видел скалы, тропинки, по которым ступала его нога, я стоял на утесах, где когда-то, как мне рассказывали, стоял Серго. Здесь, в затерявшихся среди гор аулах, хорошо знали его и вспоминали с большой любовью».

Я слушала очень внимательно, но взгляд мой невольно скользил по стенам небольшого уютного кабинета, в котором мы беседовали. Горы были в Москве. Их чудесные фотографии, сделанные умелой и любящей рукой, напоминали поэту о том, что он пережил и передумал во время своих многочисленных странствий среди прохладных ущелий, окутанных туманами ледников, гремящих горных водопадов. Мне казалось, что горы участвуют в нашем разговоре, подсказывая поэту: «Помнишь, как ты беседовал со старыми горцами, партизанившими вместе с Серго, как разыскал смелого и верного ингуша, сопровождавшего его в Амгу?..».

«Мне не пришлось ничего выдумывать, — продолжал Николай Семенович, — материалы были вокруг меня и во мне, в моей любви ко всему, что меня окружало».

Во время работы над поэмой перед автором часто возникал образ того, кто высоко в горах, в темноте пшавских ночей писал для потомков в своем маленьком домике. В поэтическом мире Н. Тихонова и

Важа Пшавела оказалось очень много общего: у обоих переживания растворялись в глубинах родной природы, оба черпали вдохновение из одного и того же источника. «Поэт разговаривает с облаками, лунной и горами, с ним говорят птицы, животные, роши, реки», — писал Николай Семенович о Важе Пшавела. И сам же, делаясь с читателями тем, как складывалась его поэма, признавался, что рассказ о Серго

...сложили горы,
Башни, звезды, облака,
Снег и трав весенних ворох,
Люди, песни и река.

Николай Тихонов оживил любимого героя Важа Пшавела, введя его в поэму. Вождем хевсуров Бицке кажется, что Серго — это храбрый и справедливый Миндия, вернувшийся к людям:

— Ты же Миндия, который
Появился снова здесь,
Ты пришел к нам снова в горы
И принес большую весть.

То-то в нашей Хевсурети
Слух уж ходит по горам:
Новый Миндия на свете
Свет приносит братский нам.

Некоторые образы Важа Пшавела, вошедшие в себя традиции народной грузинской поэзии, вдохновили Николая Семеновича на создание отдельных эпизодов поэмы. Вот, что говорил об этом сам поэт:

«В моем распоряжении были замечательные традиции не только русской, но и грузинской поэзии. В какой-то степени именно под ее влиянием у меня возникло, например, желание описать в поэме о Серго охоту на туров, прекрасно изображенную уже и в народной грузинской поэзии, и у Важа Пшавела. Но все дело в том, что оттолкнувшись от уже знакомых поэтических образов, я решил сам, по-своему передать сцену охоты с такими особыми подробностями, как будто был ее участником».

Поэту удалось это в полной мере. Картинка, нарисованная им, удивительно верна тонкой передачей всех деталей охоты, опасностей, подстерегающих человека в горах, хитрых повадок зверя. В ней все бесконечно знакомо, и в то же время — все новое. Кисть художника нашла особенные, ей одной свойственные краски, оттенки, штрихи и создала яркую и грациозную сценку, оставляющую впечатление, будто все описанное действительно происходило с самим поэтом.

Многое дала русскому поэту грузинская классика. Щедрой рукой она раскрыла перед ним не только страницы книг Важа Пшавела. Она познакомила его с волшебником Шота Руставели, с лирическими раздумьями и переживаниями грузинских романтиков, страстными исканиями правды и свободы Акакия Церетели и Ильи Чавчавадзе.

Об Илье Чавчавадзе Николай Семенович сказал однажды: «Никогда Илья Чавчавадзе не изменял своей вере в человека. Он требовал служения общественной правде, справедливости, идее восстановления свободной жизни грузинского народа... Нет никакого оправдания в эгоистичном уединении отшельнической жизни. Человек живет в борьбе за народ, в гуще своего народа, делит его радости и горе, и в искусстве видит ясную цель — отражать народную жизнь в ее самых живых, самых правдивых, живописных, сильных проявлениях...».

Только глубокое знание произведений грузинского классика могло породить это раздумье, из которого видно, чем дорог Илья Чавчавадзе Николаю Тихонову, сказавшему однажды: «Быть художником — значит быть певцом народной жизни».

Вдохновленный жизнью и благородными помыслами Ильи Чавчавадзе, его безграничной преданностью передовым идеям, Николай Семенович посвящает ему стихотворение, полное глубокой любви и признательности:

...Ты — среди нас всей силой слов своих,
Прекрасным другом всех народов наших
И другом всех поэтов молодых.

«Подвиг сердца» выдающегося грузинского поэта и писателя, — говорится в стихотворении, — забываем: врагам не удалось злодейским выстрелом погасить то, что сделало это сердце для народа:

...Мы помним день, когда сверкнуло пламя
И кровь поэта в пламя перешла.

И пламя то от Сагурамо близко,
Его ветрам пустынным не задуть,
Оно горит над гранью обелиска
И освещает в будущее путь!

Не раз бывал Николай Семенович в доме Ильи Чавчавадзе в Сагурамо. Там он некоторое время жил и работал вместе с грузинскими друзьями. Об этих днях очень тепло вспоминал поэт много лет спустя в рассказе «Ночь и день». «Хорошо жилось и работалось, — писал он, — в этом старом, большом, полном воспоминаний, легенд, литературных историй, гостеприимном доме. В старом кабинете горел камин, читались стихи, говорили об искусстве, и казалось, что сам хозяин остановится в дверях и будет тихо стоять, слушая беседу своих гостей и не желая смутить их своим присутствием.

Но хозяин давно покоился на священной горе над Тбилиси, высокий обелиск стоял на месте его гибели, и только дух его, творческий и неукротимый, продолжал ощущаться в доме на холмике и в саду, раскинувшегося по склону».

В этом же рассказе Николай Семенович описал свой подъем ранним снежным утром в Зедазенский монастырь и то забываемое впечатление, которое он испытал, любясь открывавшимся с горы видом: «С этой горы, казалось, мы можем проникать в самые разные грузинские просторы. Исто-

рия говорила здесь полным голосом. Кругом нас светился золотой лес, внизу лежали дымные страницы истории, солнце светило, как летом на севере...»

Эти же ощущения передал в стихотворении «На горе Зедазени»:

Весь наполнен солнцем лес,
Будто снова лето.
Далеко внизу — Загэс,
Под ногами — Мцхета.

Грузия внизу плывет
Сказочным рассказом,
И времен водоворот
Можешь видеть глазом.

Стихотворение это вошло в поэтический цикл «Радуга в Сагурамо», открывающийся чудесным стихотворением того же названия.

Стихотворение «Радуга в Сагурамо» посвящено большой и нерушимой дружбе поэтов Грузии и России. Владелец Сагурамо горячо любил передовую Россию, признавал огромную роль русской литературы в духовной жизни грузинского общества. А теперь, спустя много лет, его соотечественник, тоже поэт и писатель, пригласил сюда русского друга и, улыбаясь, говорил ему: «Вот я, как гостеприимный хозяин, организовал вам радугу!». Мысль об Илье Чавчавадзе и возглас Георгия Леонидзе, соприкоснувшиеся в неожиданном видении радуги, и вызвали к жизни замысел стихотворения:

Она стояла в двух шагах,
Та радуга двойная,
Как мост на сказочных быках,
Друзей соединяя.

Образ двойной радуги стал в поэзии Николая Семеновича Тихонова, символом нерушимой братской дружбы. Не случайно его сборник новелл-воспоминаний о друзьях, людях самых разных наций, так и назван им — «Двойная радуга».

Очень часто Николай Тихонов, порой даже неожиданно для себя, сталкивался с тем, что окружало грузинских поэтов, и благодаря этому начинал лучше постигать их чувства, мысли, ощущения. Интересно упоминание об этом в его рассказе «Ночь и день».

По дороге в Зедазени Николай Семенович любовался голубоватым, светящимся, как изломы айсберга, снегом, лежавшим по всей горе. А увидев покрытые им развалины древнего храма — был поражен: под снегом они выглядели совершенно иначе. И тут, пишет поэт, «я почему-то вспомнил Гурамишвили. Мне пришло в голову, что он не раз видел это маленькое чудо, потому что дом его стоял на склоне этой горы, а он был и поэтом и охотником, а главное, молодым человеком, который следил за бегом оленей по скалам в этой чаще, преобразенной первым снегом».

Точно так же Николай Семенович ощутил и понял прелесть воспетых Николозом Бараташвили «синеветных высот», «первозданной синевы». И тогда он не только ре-

шил перевести это замечательное произведение, но и написал свой гимн «не снившейся синеве»:

...Взгляни в открывшуюся высь —
И ты увидишь наяву
Не снившуюся синеву.

Не позабыть, пока живу,
Долни сванетских синеву.

Перед такую синевой
Я был когда-то сам не свой.
Перед такую синевой
Встань с непокрытой головой.

Все ближе узнавая Грузию, Николай Семенович Тихонов проникался убеждением, высказанным им однажды на вечере Тициана Табидзе в Ленинграде:

«Грузия — это замечательная страна. Она раскрывается человеку так поэтически, как действительно раскрывается в стихах образ... Грузинские поэты не могли бы существовать, если бы слово «поэзия», если бы то, что мы называем поэтическим ощущением, не жили бы в природе страны и в душе этого народа».

Свою мысль Николай Семенович пояснил на примере: «Когда вы увидите грузинского крестьянина, человека, который поднимает тост... с мудростью человека, сжившегося с этой природой, вы ему завидуете, потому что он тут же говорит стихотворение, не записывая его. У него особое ощущение неба, гор, лесов. Он говорит: «Выпьем за это небо, которое посылает нам град, который бьет наши виноградники, за эти горы, которые задерживают дожди, нужные нам, все равно, выпьем за их здоровье...». Эти слова Николая Семеновича Тихонова как бы расшифровывали афоризм, высказанный однажды известным армянским поэтом Ованесом Туманяном: «Каждый грузин от природы поэт, а грузинский поэт — дважды поэт!».

Почитав в сокровенные глубины грузинской поэзии, Николай Семенович сумел почувствовать ее необычайную искренность и широту: «Что я называю искренностью? Это то необходимое соединение между человеческой биографией и страной, в которой он живет, с ощущением всего, связанного с этим; то, что вы не можете выделить такие моменты, когда вы скажете: это вот написано для других, а вот это написано для себя, а это для газеты. Нет, это так тесно связано, что становится нерасторжимым».

В сущности о том же творец не так давно Корнелий Зелинский, отмечая, что «современная грузинская лирика хороша тем, что ее гражданственность окрашена задушевностью. Хороша и тем, что мимо ритуалки она обращается к тому уточненному аппарату человеческого восприятия, который мы называем душой».

В поэзии братского народа Николая Тихонова привлекало и то, что «грузинский поэт умеет так сохранить особенности каж-

дого места, что вы действительно найдете в грузинской поэзии и маленькие селения, и ручейки и горы, и города, и отдельные места, которые представлены как настоящая грузинская поэзия».

Все эти особенности грузинской поэзии, пленившие Николая Тихонова, были обнаружены им в творчестве Тициана Табидзе, Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Сандро Шаншиашвили и многих, многих других поэтов. Их произведения раскрыли перед Николаем Тихоновым, по его же словам, богатейший мир таких поэтических вдохновений, который поразил его своим радостным восприятием жизни, силой красочной образности, новизной и щедростью ощущений.

Неведомый дотоле поэтический мир, сверкнувший ему своими радужными гранями, и способствовал сближению Николая Тихонова с современными грузинскими поэтами. Началось это сближение еще в первый приезд поэта в Грузию в 1924 году.

Уже тогда Николай Семенович почувствовал, что Тбилиси — это «город поэтов»: «стихи звучали в горячем воздухе поэтических ночей, и казалось в переплетении чувств, что в Тбилиси можно разговаривать только стихами или какой-то высокой прозой».

Вспоминая об этом времени, Николай Семенович говорил мне: «Стихов было много — от шуточных до самых серьезных. Вообще нужно сказать, что поэзия тогда жила самой широкой жизнью, не вменяясь в рамки официальных встреч, непосредственно входила в жизнь, в сердце. Стихи читались даже при мимолетной встрече, их было множество и они волновали, заставляли спорить, будоражили... Улыбка не покидала его доброго лица, а глаза искрились безудержным смехом, когда Николай Семенович рассказывал о своем первом литературном вечере в Тбилиси в том же, 1924, году:

«В то время в Грузии существовало несколько литературных групп и среди них — «голубороговцы» и «пролеткультовцы». Обе группы недолюбливали друг друга, и потому, когда у кого-то возникла идея устроить «вечер поэзии Тихонова», «голубороговцы» стали тайно уговаривать меня провести этот вечер без «пролеткультовцев», а «пролеткультовцы» — без «голубороговцев». Я же сказал им: «Вы договаривайтесь между собой как хотите, но творческий вечер мы проведем вместе». На том и порешили. Вечер предполагалось устроить в городском саду через неделю. Свободного времени у меня оставалось много и поэтому, имея письма к Мартиросу Сарьяну, Туманяну и другим друзьям в Армении, я решил провести эту неделю в Елеване. Пробыв там несколько дней, я уже подумывал о возвращении в Тифлис, но мне сказали, что там в данный момент очень сложная обстановка и ни о каких вечерах не может быть и речи. Словом, убедили остаться».

Когда же по возвращении в Тифлис я встретил одного из «пролеткультовских» поэтов и выразил сожаление по поводу несостоявшегося вечера, он с изумлением сказал:

— То есть как не состоялся? Конечно, состоялся, только в другой день. Успех был очень большой!

— Мой творческий вечер? Без меня?!

— Мы сами читали ваши стихи, — последовал невозмутимый ответ. — А так как у нас их было немного — паузы заполнял духовой оркестр!..»

Среди поэтов в те годы, — говорил Николай Семенович, — особенно выделялись своей поэтической «одержимостью», поэтическим опьянением Тициан Табидзе и Паоло Яшвили. Не считаясь со временем, они постоянно находились на посту чисто поэтических вещей.

Вскоре Тициан Табидзе стал одним из ближайших друзей русского поэта. В его творчестве Николая Семеновича привлекала взволнованная забота о судьбах родины, безудержная преданность идеям дружбы между народами, глубокая и постоянная увлеченность поэзией, проникновенность лирического голоса, необычайная искренность.

Недаром Николай Семенович назвал Тициана Табидзе на его творческом вечере одним из «самых настоящих, подлинных и замечательных поэтов», отметив при этом: «Он не поэт, который на слух воспринял традиции народных певцов. Он — культурнейший человек, который знает, что такое развитие мировой поэзии, поэзии русской, европейской и т. д. Он проходил эти этапы. Но я имею в виду то, что составляет основу его поэзии, то, что мы сейчас понимаем как целое в Тициане, — эту колоссальную искренность, широту, которая позволяет ему обращаться со стихом свободно, так, как он хочет. В его стихе — национальность, которая обогащает остальные народности, и высокая правдивость стиха. Поэтому, что он мастер, что является во всем этом соединении уже очень большой вещью...»

Импонировала Николаю Тихонову и всеобъемлющая любовь Тициана к природе, умение видеть и понимать ее, улавливать в ее звучании нужное и полезное человеку.

Вспоминая о дружеских встречах Николая Тихонова с Тицианом, жена грузинского поэта Нина Александровна Табидзе рассказывает: «Тициан очень любил Николая Семеновича, уважал и ценил как поэта и человека. Коля Тихонов отвечал ему тем же. Приезжая в Тбилиси, он любил бывать у нас. Каждому, кто с ним впервые познакомился, надолго запоминались его синие-синие, напоминающие финские озера, глаза, очень живые и веселые. Поражал его необычайный оптимизм. Очень часто, рассказывая что-либо, он начинал смеяться, и, смеясь, передавал все так весело и интересно, что всех заражал своим смехом. Эта его черта — душевное веселье, заражаю-

щее окружающих, — осталась в нем и до сих пор. В своем задумчивом смехе — он весь, со своим любящим сердцем, ясной душой, со всей своей прекрасной поэзией...» Запомнилась Нине Александровне и одна из поэздок Николая Семеновича Тихонова, Тициана и других грузинских поэтов в Цинандали: «Ехали туда по красивейшей Гомборской дороге. В Гомборах, где мы остановились, Николай Семенович долго стоял как зачарованный, наблюдая изумительную картину заката... В Цинандали его с женой устроили в том же доме, где отдыхали Леонид Леонов и Бруно Ясенский. В течение месяца мы с Тицианом не раз навещали друзей и часто гуляли вместе в старинном парке. Во время этих встреч Николай Семенович нередко читал нам переводы стихотворений грузинских поэтов, над которыми тогда работал, советовался с Тицианом, как лучше перевести ту или иную строку».

Вместе с поэтом Сандро Шаншиашвили и его супругой Тихоновы побывали в Алавердском монастыре на празднике «алавердоба» и в гостях у поэта — в селении Джугани.

Встречи происходили не только в Грузии, но и в Москве, Ленинграде. «...Приезжая в Ленинград, — продолжает рассказ Нина Александровна, — мы с Тицианом всегда навещали Тихоновых, живших на Петроградской стороне. В их семье каждый чувствовал себя как дома: здесь принимали всех тепло и приветливо. Среди гостей можно было встретить и начинающих поэтов, и писателей, поэтов, известных всей стране. Время проходило весело и непринужденно.

Когда мы впервые были у Тихоновых, Николай Семенович читал свои переводы стихов Тициана, Георгия Леонидзе и других грузинских поэтов. Было удивительно, что некоторые переводы его жена, Мария Константиновна, знала наизусть — очевидно, их читали в доме очень часто...

После гибели Тициана мы неоднократно встречались с Николаем Семеновичем в Тбилиси и Москве.

Однажды в Тбилиси после литературного вечера в Союзе писателей Коля Тихонов и я пошли к Нато Вачнадзе. Коля был какой-то необычайно теплый, с тоской вспоминал Тициана, Колю Шенгелая, мужа Нато Вачнадзе, а потом начал читать ненапечатанные стихи о Грузии. Мы слушали как зачарованные, глаза наши были полны слез. Когда он кончил чтение, мы от волнения не могли выговорить ни слова. Было четыре часа утра — охваченные воспоминаниями, пережившие многое заново, мы не заметили, как прошло время».

В дни, когда стало известно о реабилитации Тициана Табидзе (1953 год), Мария Константиновна Тихонова прислала Н. А. Табидзе письмо, в котором были такие строки: «В день, когда Вы будете вспоминать нашего Тициана, к тем близким, ко-

торые будут с Вами, присоедините и Николая и Марию Тихоновых. В этот день — Николай в Финляндии, а я в снежном лесу под Москвой, вспомним его всем сердцем. Вспомним и воздадим ему честь и славу за его чистоту, за его правдивость, за его доброту. За это и отдал он свою чудесную жизнь. И таким он вернется в своих стихах к грузинскому и русскому народу.

И в печали о нем, и в живой любви к нему, Вы, Ниночка, Вы — потомок славных женщин и мужчин Грузии, имена которых живут и будут жить в памяти наших народов, Вы, Нина, неодинокими...»

В 1955 году, когда готовилось новое издание стихотворений Тициана Табидзе на русском языке, Николай Семенович по просьбе Н. А. Табидзе перевел несколько стихотворений погибшего друга. В письме, помеченном 28 декабря 1955 года, он писал Нине Александровне: «... Работа над переводами доставила мне большую радость, но я боюсь, что трудность темы и недостаточная ясность подстрочника в иных местах не позволила мне поднять на должную высоту стих, и я прошу Вас Ваши замечания сейчас же сообщить мне, чтобы я мог исправить все неправильно мной понятое...» Так в книге, на обложке которой алел символ горячей любви ее автора к жизни — цветок красной гвоздики, впервые появились на русском языке в переводе Николая Тихонова стихотворения из цикла «В Армении» и «Дагестанская весна». Эти переводы, так же как и более ранние, до сих пор остаются непревзойденными. Каждый из них говорит о необычайной требовательности к себе поэта, его большой и вдумчивой работе.

Один из многих примеров такой работы — перевод стихотворения «В Кахетии», сделанный еще при жизни Тициана Табидзе.

В первой части этого стихотворения, озаглавленной в оригинале «Так зовет долина Кахетии», автор в очень теплых лирических тонах передает необычайно радушное гостеприимство, которым особенно славится Кахетия, радостное восприятие жизни, поэтичность природы кахетинца, доброту его сердца, способного вместить несчетное количество песен.

Одушевляя Алазанскую долину, автор именно ей предоставляет роль гостеприимного хозяина. Это она приглашает поэтов:

Придите, вы — желанные гости,
Придите и попробуйте кварельское вино,
Придите попить по-кахетински.
(Подстрочный перевод)

В переводе Николая Тихонова, полностью сохраняющего настроение поэта, долина также олицетворена. Она зовет гостей:

Попробуйте, пейте вина Кварели,
Чтобы сердца на пирах потеплели.

Как и в оригинале, долина рассказывает о той встрече, которую она готовит гостям. Следуя тексту подлинника, Николай Семенович упоминает известных народных пев-

цов, и места, откуда они родом, сохраняет название известной грузинской застольной песни:

В Шильде споет вам Дедас-Левана,
Или в Артанах — Каралашвили.

Пусть по селемьям прокатится громом
Мравалжамьер — чужим и знакомым.

Но поэт-переводчик не перегружает русский стих грузинской лексикой. Часть специфических терминов, понятных только грузину, он выпускает. Например, слово «баяти», означающее сольную песню на особый восточный (персидский) мотив.

У Тициана Табидзе:

ბათობით სუფრა იღრჩობა,
გვანგუნე, სიძვე, ახლაც ბიჭობა.

У Николая Тихонова:

Стол задохнется от песен застольных.
Будь же названия зятя достойным.

Вторая часть стихотворения озаглавлена у Тициана Табидзе названием грузинской народной песни и ее первой строкой:

„გუმბ შვიდნი გურჯანელნი“.

Эта часть представляет собой заздравный гост, провозглашенный поэтом-тамадой за родину, породившую ни с кем не сравнимых Важа Пшавела и Илью Чавчавадзе, множество удалых храбрецов — кахетинцев.

Мысль поэта развивается на тематическом параллелизме: как промахнулись семь гурджаанцев, стреляя в тура, которого одним выстрелом сразил старый дед, так и поэты, сказав даже по семь стихотворений, не достигнут цели: на пути их встанут Илья Чавчавадзе и Важа Пшавела.

Переводя эту часть, Николай Семенович полностью сохраняет движение художественной мысли автора, логику развития художественного образа, параллелизм:

Знаю, стреляли семь братьев... Но где же
Их попаданье? — Промазали вместе...

Пусть семь поэтов пустят, как стрелы,
Семь своих песен — все мимо промчатся...

Для того, чтобы передать широкое гостеприимство Кахетии в форме русского стиха, Николай Семенович находит соответствующий размер: четырехстопный дактиль с женской рифмой — плавный спокойный стих. Этот размер, состоящий из одиннадцати слогов, сохраняется на протяжении почти всего стихотворения, являясь адекватным десятисложной строке Тициана Табидзе.

Плавность достигается у Н. С. Тихонова и аллитерацией в строчках (например: слушайте зов Алазанской долины), однородными рифмами (В оригинале: ველი — სასურველი, გამლილი — ყარალაშვილი, в пере-

воде: Кварели — потеплели, обвили — Каралашвили).

Концовка стихотворения Тициана Табидзе «В Кахетии» в переводе Николая Тихонова отразила всю силу его любви к Алазанской долине: с согласия автора он заменил заключительные строки с их сугубо национальной спецификой («Чтобы сказать об этом смелое слово, стол выбирает нас тамадой») — своими, содержащими более широкое обобщение, вытекающее из содержания произведения:

Ведь рвется, как оползень, песня в привете,
Когда проезжаешь долину Кахетии.

Личные впечатления несомненно помогали другу грузинской поэзии в его работе над переводами.

Рассказывая впоследствии о том большом впечатлении, которое произвела на него Алазанская долина, Николай Семенович писал: «Даже проезжая ее первый раз, наспах, путник невольно проникается прелестью того, что открывается перед ним. Мягкие краски долины, дымчатые дали, теплое сияние кахетинского вечера, зеленые холмы впереди». В цикле «Стихов о Кахетии» он изобразил ее красоту и в ярком свете дня, когда в чистых водах реки, протекающей по ней, отражаются небо, деревья, проходящий путник:

Я прошел над Алазанью,
Над волшебной водой,
Поседевший, как сказанье,
И, как песня, молодой.

Поэт постиг, однако, не только красоту кахетинской природы. Он изучил быт, нравы, традиции жителей Кахетии, причем изучил настолько хорошо, что с полным правом мог сказать:

Мне в этом крае все знакомо,
Как будто я родился здесь.

Горячо полюбив Кахетию, — землю, как он писал, «трудолюбивых крестьян, свободлюбивых, чистых сердцем виноделов и пастухов, песенников и охотников», Николай Семенович особенно охотно переводил стихотворения, посвященные ей, а затем и сам воспел ее в чудесных стихах.

Понять и по-настоящему полюбить Кахетию помогли Николаю Тихонову не только свойственные ему наблюдательность, умение проникнуть в самую суть явлений, тонкость восприятия природы. Большую роль в этом сыграло и участие его друзей — грузинских поэтов, и среди них, пожалуй, прежде всего Сандро Шаншиашвили. Недаром в стихотворении, посвященном ему, Николай Тихонов восклицал:

Представить не могу Кахетии
Я без стихов Шаншиашвили.

...Он знает нравы и обычаи,
Общегрузинские, джуганские,
И песни, полные величия,
И сказы острые крестьянские.

«Мой друг Сандро, — пишет Николай Семенович в новелле «Пути-дороги», — человек кахетинской земли. Без нее он не представляет себе жизни». По мнению Николая Семеновича, поэт мог бы поставить к своим стихам эпиграфом собственные строки:

Тот огнем чудесным сердце
Не зажег ни разу,
Не проникся силой предков.
Гордостью неправдой,
Кто Кахетии красоты
Не измерил глазом.

В домике Сандро Шаншиашвили в Джугани, напоминомоем своим скромным убранством «жилище горцев — людей гордого, непреклонного мужества и суровой жизни», — рассказывает Николай Семенович, — «поются песни, читаются стихи», передаются «такие жизненные истории, что хотья немедленно вынимай перо и записывай».

Стихи Сандро Шаншиашвили о Кахетии — «Дуб в Чиаурском лесу», «Кахетинская невеста», «Кахетия», переведенные Николаем Тихоновым еще до создания собственного кахетинского цикла, так же как и личное общение с их автором, многое дали русскому поэту. Недаром он с восхищением писал о том, что в стихотворениях Сандро Шаншиашвили «живет дух кахетинской природы, характер кахетинского крестьянина. Эти стихи народные, правдивы и реалистичны с той примесью истинной романтики, без которой трудно представить поэта Грузии».

Переводя стихотворения Сандро Шаншиашвили, Николай Семенович старался сохранить их тонкий душевный лиризм, большую поэтическую выразительность, безупречную мелодику стиха, искреннюю передачу глубокого чувства, умение «одеть будничное поэтической тканью, не украшивая его и не впадая в натуралистическую бедность».

* * *

С такой же тщательностью переводил Николай Семенович и произведения поэтов Георгия Леонидзе, Симона Чиковани, Ило Мосашвили. Раждена Гветадзе и других. Его переводы — это произведения именно грузинской, а не какой-либо другой поэзии — так строго в них сохранены особенности каждого мастера, ритмическое и фонетическое своеобразие его голоса, национальная специфика. И в то же время — это вполне оригинальные, тихоновские, стихотворения, которые обогащают русскую поэзию.

О достоинствах переводов Николая Семеновича Тихонова говорил на его втором творческом вечере, состоявшемся 10 лет спустя после первого — в 1934 году (уже в присутствии поэта!), — Валериан Гаприндашвили: «Становится фактом, то, о чем мечтали грузинские поэты. Каждый из нас может гордиться, что проделана большая

с Георгием Николаевичем Леонидзе выходили на прогулку. Мы медленно шли по неровной, чуть пыльной тропинке через поляну к обрыву и говорили о стихах, о природе, о жизни. Весь долгий осенний солнечный день, уединившись на двух противоположных концах маленького домика, мы трудились, не замечая часов... Только вечером, гуляя на закате по тихой, полусонной земле, окруженные исполинскими видениями неба, мы отдыхали, обменивались мыслями, спорили, шутили, вспоминали свои молодые годы, делились планами». И, конечно, читали друг другу написанное за день. То общее, что роднило их поэзию, — ощущение необычайной полноты жизни, острое чувство времени, умение, проникая в прошлое, воспринимать его как частицу настоящего, задушевность и вместе с тем романтическая приподнятость, лирическая напевность, — помогало им чутко улавливать друг у друга все, что нуждалось в шлифовке. И тем большую радость приносили новые поэтические находки и удачи. Об этих днях цхнетской осени, наполненных поэзией, Николай Семенович писал:

Зря через сумрак рассветный
Как розовый кралась олень,
Являясь потом многоцветный,
Стихами пронизанный день.

И, правды стиха не унизив,
Природа вставала над ней,
Над шквалами строг Леонидзе
Всей песенной силой своей.

О теплых дружеских чувствах к своему ровеснику поведал Георгий Николаевич Леонидзе в стихотворении «Николаю Тихонову»:

Мы надвое сердец не рассекали —
Пока живем,
Оно у нас одно.
Да, это так!
Пусть видимся не часто,
Мы всюду вместе, брат мой дорогой.
Не может быть один из нас несчастлив
И в то же время счастлив быть другой.

Работа над переводами дала Николаю Тихонову очень много. Полюбившиеся ему черты грузинской поэзии, проникнув в творческое сознание, обогащали его. А это, в совокупности с никогда не прекращающимся у поэта изучением истории Грузии, ее современной жизни, искусства и культуры, вносило новую живительную струю в его творчество.

То же самое происходило и у грузинских поэтов, которые общались с Россией, ее жизнью и природой, с русскими писателями и поэтами, и прежде всего с Николаем Семеновичем Тихоновым.

Объясняя этот интереснейший процесс взаимного обогащения поэзий двух братских народов на примере собственного творчества и творчества некоторых русских поэтов, Николай Семенович говорил мне:

— То замечательное, что встречалось мне в грузинской поэзии и действительности, пройдя через мои собственные ощущения,

переживания, мое отношение к окружающему, соединялось у меня в одно целое, как бы в некий сплав, и выливалось в художественные образы, дававшие возможность раскрывать задуманное в новой форме, в новом образном воплощении.

Это же помогало мне и в переводах — ощущения грузинских поэтов часто настолько бывали мне родственны, близки, что казались собственными ощущениями. И поэтому я могу даже сказать, что в каком-то плане я стал грузинским поэтом.

Переводя, например, поэму Сандро Шаншиавили «Кахетинская невеста», я вспоминал свое пребывание в Кахетии, в тех же местах, в то же время года и даже при тех же обстоятельствах, которые описывает грузинский поэт: ощущение у меня было полным. И когда в Союзе писателей в Тбилиси мой друг прочел свою поэму на грузинском языке, а я тут же ее перевод на русский, — слушатели нашли полное соответствие настроения, ритма, дыхания.

В этом же плане грузинская поэзия, грузинская действительность действовали на Пастернака. Взять хотя бы его «Волны». Соприкоснувшись с поэзией Тициана Табидзе, Паоло Яшвили и других грузинских поэтов, волна творчества переходила к Пастернаку, к его ощущениям Кавказа, Грузии, — и в его поэзии появились совершенно новые образы, возникли горы, море.

Или Заболоцкий, который попал на грузинскую классику, и она соприкоснулась с его заветным — склонностью к классическому стиху — через грандиозную работу над переводами Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Важа Пшавела. Причем еще один интересный момент — если переводчики до него старались точно передавать размер подлинника, то Заболоцкий первый применил ямбический размер, мужские рифмы, — и это оказалось оправданным.

То же можно сказать и о Павле Антокольском. Без доброго соприкосновения с Тицианом Табидзе, Симоном Чиковани, Георгием Леонидзе, без содружества, обмена опытом, без восприятия исключительной образности грузинской поэзии, возможно, и не было бы такого возвышенного, мужественного звучания ряда его стихотворений и переводов.

Благодаря общим усилиям русских поэтов-переводчиков грузинская поэзия стала достоянием, именно достоянием, а не понятием для русского читателя. И достигнуть этого было, конечно, не так-то просто: здесь происходило то же, что и в жизни — чем больше человек отдавал себя, тем он больше получал взамен...

Вспоминая теперь эти слова Николая Семеновича, я несколько думаю, что самый высокий и вдохновенный пример такой самоотверженной отдачи показал он сам — человек большой поэтической души и верного сердца, любимый брат грузинского народа. И Грузия вознаградила его, щедро раскрыв перед ним сокровищницу богатств своей поэзии, отдав ему свою любовь и дружбу.

Г. ДЕВДАРИАНИ

Книга об Орджоникидзе

Прочитана последняя страница книги И. Дубинского-Мухадзе «Орджоникидзе», выпущенной издательством ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия». Впечатления еще свежи, и мысленно воспроизводишь события и факты, которые отделились от нас десятилетиями, но воспринимаются с волнением и чувством гордости за великую партию Ленина, ибо жизнь и деятельность Серго Орджоникидзе, замечательного представителя старой ленинской гвардии — это страницы героической истории нашей партии, ее самоотверженной борьбы за социалистическую революцию и построение самого справедливого общественно-го строя.

«Орджоникидзе» И. Дубинского-Мухадзе выгодно отличается от многих книг биографического характера. Автору удалось избежать шаблона, когда одна дата с точной хронологической последовательностью сменяет другую и за строгим официальным изложением материала теряются те живые черты, которые дают возможность разглядеть в государственном деятеле полнокровного человека, раскрывающегося во всей полноте своего характера, внутреннего мира.

Бережно собрав богатый материал, главным образом документальный, автор книги умело использовал его в художественном изложении.

С большой теплотой и душевностью нарисованы картины яркой и живописной природы Грузии, величественные и ласкающие глаз зеленые горы Имеретии, студёные и кристально-чистые горные речки, разбросанные высоко в горах деревни и виноградники. А вот и деревня Гореша, родное село Серго, где провел он свои детские годы, где впервые стал складываться твердый и непокорный характер мальчика, впоследствии смело

вступившего на путь борьбы с социальной несправедливостью, отдавшего этой борьбе за счастье трудового народа всю свою жизнь без остатка.

Под пером писателя оживают образы многих мужественных революционеро-в-ленинцев, боевых единомышленников Серго, деливших вместе с ним всю тяжесть и радость борьбы, вся жизнь которых всегда была и будет ярким примером для тех, кто продолжил их дело и, в первую очередь, для нашей молодежи, на долю которой выпало величайшее счастье участвовать в коммунистическом строительстве. Навсегда вписаны в славную историю нашей партии имена боевых товарищей Серго Орджоникидзе по революционной работе — Самуила Буачидзе, Виктора Курнатовского, Лад-до Кецхели, Степана Шаумяна, Алеши Джапаридзе, Александра Цулукидзе, Камо, Миха Цхакая, Сергея Кирова, Анастаса Микояна, Елены Стасовой и многих других.

Большим достоинством книги И. Дубинского-Мухадзе является то, что автору удалось ярко и убедительно показать ту поистине величайшую роль, которая принадлежала В. И. Ленину как создателю и вождю большевистской партии, и в деле руководства большевистскими организациями Закавказья.

На заре революционного движения В. И. Ленин энергично работал над укреплением связей русских и грузинских социал-демократов, переписывался и встречался со многими революционными деятелями Грузии, печатал на страницах «Искры» наиболее интересные прокламации и нелегальные листовки Тифлиского комитета РСДРП.

Серго Орджоникидзе был одним из тех, кто пользовался безграничным доверием и любовью В. И. Ленина.

Летом 1911 года Серго Орджоникидзе был одним из десяти слушателей партийной школы, организованной В. И. Лениным в деревне Лонжиою в пятнадцати километрах от Парижа. «...Занимались в партийной школе много и усердно. Ленин читал курс политической экономии, теорию и практику социализма, аграрный вопрос, Рязанов — историю западноевропейского рабочего движения, Стеклов и фин Епотаевский — государственное право, Луначарский — литературу. Инесса Арманд вела семинары. Станислав Вольский преподавал газетную технику...»

Во второй половине июля 1911 года Серго Орджоникидзе по поручению В. И. Ленина возвращается в Россию. Руководит работой Российской, организационной комиссии (РОК) по совету VI Всероссийской партийной конференции, а в конце октября того же года вновь возвращается в Париж.

В январе 1912 года Серго участвует в работе VI (Пражской) Всероссийской конференции РСДРП, которая избирает его членом Центрального Комитета РСДРП и в состав русского бюро ЦК РСДРП.

Нельзя без волнения читать страницы о пребывании Серго Орджоникидзе в Шлиссельбургской крепости. В книге приводятся воспоминания бывших узников крепости, в том числе Героя Социалистического труда профессора Федора Николаевича Петрова, одного из старейших участников революционного движения в России, который семь лет провел в Шлиссельбургской крепости, а затем был сослан на вечное поселение в Сибирь. Вспоминая о Серго Орджоникидзе, Петров пишет:

«Он врзался в память мою и всех товарищей, сидевших в те годы в Шлиссельбурге. Независимый, гордый духом, Серго участвовал во всех протестах. Не подчинился режиму и не работал перед администрацией, не снимал шапки по команде, не отвечал «здравия желаю» начальнику тюрьмы и его помощникам. Он учил шлиссельбургцев ненавидеть царское самодержавие, внушал уверенность в неизбежной победе революции, жадно накапливал знания. Много читал. Изучал философию, экономические науки, историю, технику, военное дело. Единственно, что ему никак не давалось, несмотря на все наши старания, он не мог научиться носить кандалы. Забывал подтянуть концы, и кандалы весом в 10—12 фунтов постоянно били его по ногам».

В личном архиве жены Серго — Зинаиды Гавриловны Орджоникидзе сохранилась тюремная тетрадь со стихами Серго. В застенках мрачного каземата Серго Орджоникидзе писал:

Друг, мужайся! День нестанет!
В алом блеске солнце встанет!
Синей бурей море грянет,
Волны песни загудят!
Будет весел многоводный,
Пир широкий, пир свободный,
Он сметет грозой народной
Наш гранитный каземат...

И этот день настал. Великий Октябрь возвестил всему миру о начале новой эры в истории человечества, положив начало существованию первого в мире социалистического государства рабочих и крестьян.

Активное участие в подготовке и проведении вооруженного восстания принимал и Серго Орджоникидзе. И этот период деятельности Серго ярко отражен в книге Дубинского-Мухадзе.

По возвращении из далекой Якутской ссылки Серго по предложению В. И. Ленина был введен в Петроградский комитет РСДРП(б), а также в Исполком Петроградского Совета. По поручению ЦК РСДРП(б) Серго Орджоникидзе посещает В. И. Ленина на станции Разлив, информирует Владимира Ильича о положении дел в партии и получает от него директивы.

На VI съезде партии Серго Орджоникидзе категорически высказался против явки В. И. Ленина на суд: «...им важно, — говорил он на съезде, — выхватить как можно больше вождей из рядов революционной партии. Мы ни в коем случае не должны выдавать т. Ленина. Из дела т. Ленина хотят сделать второе дело Бейлиса».

В начале сентября 1917 года Серго Орджоникидзе по решению ЦК РСДРП(б) направляется в Закавказье, где руководит работой большевиков Тифлиса и Западной Грузии, а 24 октября он возвращается в Петроград и принимает активное участие в вооруженном восстании.

Автор книги с художественным мастерством и исторической достоверностью описывает все эти важнейшие моменты деятельности Серго Орджоникидзе.

Не менее интересны главы, посвященные неутомимой работе Серго Орджоникидзе после победы Великой Октябрьской социалистической революции. Партия посылает его на самые ответственные участки. Он возглавляет Временный Чрезвычайный комиссариат Юга России, объединяющий Крым, Донскую и Терскую области, Черноморскую губернию, Черноморский флот и весь Северный Кавказ до Баку, руководит боевыми операциями Красной Армии против вооруженных сил контрреволюции на Северном Кавказе, является членом Революционного Военного совета XVI армии Западного фронта, XIV армии Южного фронта, Военного совета Кавказского фронта. Постановлением ЦК

РКП(б) Г. К. Орджоникидзе назначается председателем Бюро по восстановлению советской власти на Северном Кавказе, является председателем Северо-Кавказского революционного комитета. В апреле 1920 года он входит в состав организованного решением Политбюро ЦК РКП(б) Кавбюро ЦК РКП(б).

История борьбы за установление Советской власти в Азербайджане, Грузии и Армении воспроизведена во многих книгах. Казалось бы, трудно что-либо добавить к этой истории. Тем не менее автору книги удалось интересно и ярко описать события тех дней, обогатить повествование новыми деталями и интересными документами, еще глубже раскрыть выдающуюся роль Серго Орджоникидзе как одного из главных организаторов победы Советской власти в республиках Закавказья.

В книге И. Дубинского-Мухадзе охвачена деятельность Серго Орджоникидзе и в период упрочения Советской власти в республиках Закавказья, его неутомимая работа по восстановлению и дальнейшему развитию народного хозяйства этих республик, его непреклонная воля в осуществлении ленинской национальной политики, непримиримость и принципиальность в борьбе со всякого рода уклонистами от генеральной линии, проводимой партией в те годы. Даже на самых крутых поворотах Серго никогда не заносило ни влево, ни вправо. Он всегда оставался самим собой — убежденным ленинцем.

Неутомимо, по-большевистски страстно и необыкновенно целеустремленно работал Серго Орджоникидзе на различных ответственных постах по руководству социалистическим народным хозяйством. Народный комиссар Рабоче-крестьянской инспекции СССР, председатель Высшего Совета Народного хозяйства СССР и, наконец, Народный комиссар тяжелой промышленности — это не фрагменты из биографии Серго, а это живая история нашего государственного и хозяйственного строительства, претворение в действительность великих ленинских заветов.

В заключительной части книги автор

предоставляет слово людям, имена которых хорошо известны в нашей стране. Рабочие и инженеры, ученые и писатели, старые профессиональные революционеры, все те, которым довелось встречаться с Орджоникидзе, неоднократно или хотя бы один раз в жизни, пишут о нем с любовью и возвышенно, как о человеке до совершенства целом, который до конца своей жизни был «... весь революционер, весь большевик, весь ленинец».

Эти страницы книги как нельзя лучше восполняют образ Серго, который предстает перед читателем как человек всегда прямой, твердый, смелый, не умеющий наполовину любить или ненавидеть, отдающий делу ленинской партии всю свою душу, как богатый, вытесанный из гранитной глыбы.

Каждому, кто прочитает эту книгу, будет до глубины души больно, что такой замечательный представитель старой ленинской гвардии, один из выдающихся командиров социалистического строительства вынужден был уйти из жизни. Это чувство ничем не оправданной и тяжелой потери отважного бойца, кристально чистого и обаятельнейшего человека возникает у читателя с первых же страниц книги, где описывается та холодная московская ночь с семнадцатого на восемнадцатое февраля 1937 года, когда после принятого им рокового решения оборвалась жизнь Серго Орджоникидзе.

Оценивая книгу в целом, нельзя не признать, что автор проделал большую работу, собрав богатый документальный материал, на основе которого он нарисовал портрет одного из соратников Владимира Ильича Ленина, стойкого и непреклонного борца за правду — Серго Орджоникидзе. И хотя отдельные периоды жизни и деятельности Серго Орджоникидзе освещены порою несколько схематично и далеко не все разделы написаны с одинаковой силой, тем не менее читатель с большим интересом прочтет эту полезную книгу. Будем надеяться, что автор ее создаст еще не одно хорошее произведение о людях и делах нашей славной Коммунистической партии.



ра народов Кавказа присылать материалы об источниках лермонтовских произведений кавказского цикла. В этой же статье речь шла о народных вариантах поэмы «Демон».

По критической литературе о Лермонтове мы знаем, что в 1837 году в Грузии он «познакомился с местной легендой», которая легла в основу новой редакции его поэмы «Демон». В этой новой редакции действие перенесено в Грузию и, как пишет сам поэт, в ходе работы над поэмой она приняла характер «восточного рассказа».

В своей статье П. Висковатов приводит распространенное среди жителей гор и ущелий «Сказание о горном духе Гуде». Один из его вариантов напечатан и в газете «Кавказ» в 1850 году. С ним в ряде моментов перекидается и «Сказание о дэви и Тамар», опубликованное мною на грузинском языке в газете «Литература да хеловнеба» в 1948 году (№ 38), которое, я считаю, должно было лечь в основу «Демона».

Вот краткое содержание «Сказания о горном духе Гуде»: в долине Арагви в бедной семье живет девушка необыкновенной красоты по имени Нино. Все покорило ее красотой. Полюбил Нино и горный дух Гуда. Его любовь к Нино становится все сильнее. Гуда собирает для Нино в горах самые лучшие цветы. И где бы ни бродила Нино, над какой бы пропастью она ни проходила, под ее ногами, по велению духа гор, возникали ступени. И настолько сильна стала любовь духа к Нино, что он захотел даже превратиться в простого смертного, лишь бы быть рядом с любимой. Но Нино полюбила соседского парня. Это разозлило духа гор. И когда возлюбленный Нино отправился на охоту в горы, Гуда наслал на него ураган и окутал его туманом. А под конец, снедаемый ревностью, дух засыпал хижину влюбленных снежной лавиной.

По некоторым вариантам этой легенды горный дух обладал необыкновенной силой — когда он смеялся, с гор скатывались огромные глыбы.

Это подтверждает и упоминание профессора П. Висковатова о том, что близ Арагви можно было найти развалины монастыря, который, по преданию, разрушил разозленный горный дух.

Вслед за Висковатовым и другие исследователи творчества Лермонтова считали, что в основу «Демона» положен именно этот вариант легенды.

Между тем, во время записи фольклорного материала в Кахетии, в деревне Ахмета студентка Мариам Цискаришвили записала со слов 96-летнего Исаака Пилашвили «Сказание о дэви и Тамар». Исаак Пилашвили не знал грамоты. Это сказание он слышал в деревне. Привожу его полностью:

Давным-давно жила красавица по имени Тамар. Ее необычайная красота покорила не только людей, но и дэвов. Один из них так сильно полюбил Тамар, что ради нее не пожалел бы своей жизни.

Наконец, после долгих попыток, дэви проник в спальню спящей Тамар. Слез у изголовья, он любовался ее красотой.

Теперь дэви уже не мог больше усидеть в лесу. Каждую ночь он шел к Тамар. До утра ласкал и целовал ее волосы, рассыпавшиеся по подушке. На рассвете дэви исчезал из спальни.

Любовь дэви к Тамар становилась все сильнее. Он уже не мог больше совладать с собой. Однажды даже подумал: «Останусь у Тамар до рассвета и признаюсь ей во всем». Но испугался — вдруг она отвергнет его любовь.

Тогда он уже не сможет больше тайно навещать ее. Лучше похитить Тамар и увезти ее в страну дэвов. Но потом передумал — ведь она не сможет жить там и умрет.

Наконец решил: «Пообещаю ей свою жизнь, несметные богатства, лишь бы она разрешила хоть издали любоваться ею». Но к чему Тамар его богатства?

Однажды, погруженный в свои думы, дэви засиделся у Тамар до рассвета. Пропел петух. Дэви не удержался, наклонился и поцеловал Тамар. Она испугалась и проснулась. Огляделась вокруг, но в спальне никого не было. Удивилась Тамар и снова заснула.

Но поцелуй дэви погубил Тамар. Она заболела и вскоре умерла.

Узнав о смерти Тамар, дэви ревом своим потряс горы. Он заперся у себя, плакал, убивался.

Лишь изредка покидал он свое убежище и, рыдая, шел к могиле Тамар.

Когда у нас воев вьюга, это значит — дэви рыдает над могилой Тамар.

Подобные сказания записаны и в Сигнахи, но там речь идет не просто о Тамар, а о царице Тамар. Вообще приведенное нами народное сказание получило широкое распространение в Грузии, но в разных уголках оно имеет свои художественные особенности.

Не располагая необходимыми данными, сейчас трудно утверждать, какой именно вариант сказания Лермонтов использовал во время своего пребывания на Кавказе в ходе работы над новой редакцией «Демона», тем более, что ему были известны различные сказания, распространенные в Кахетии. Он мог познакомиться с их содержанием на русском языке в семье поэта А. Чавчавадзе, жившей в Цинандали (известно также, что Прасковья Арсеньева, близкая родственница матери Лермонтова, долгое время жила в семье А. Чавчавадзе как воспитательница его дочерей Нино и Екатерины), и в других грузинских се-

мьях, с которыми был близок и в которых бывали лучшие представители грузинской интеллигенции; к тому же поэт сам интересовался ими и записывал их.

Но сопоставление «Сказания о дэви и Тамар» с поэмой Лермонтова «Демон», выявляет много общего в них. Остановимся на основных общих местах.

И в «Демоне», и в сказании главный персонаж — грузинка Тамар. Кстати, следует напомнить, что, находясь в Грузии и уточнив для себя содержание новой редакции своей поэмы, Лермонтов заменил монахию грузинской княжной Тамарой.

И в поэме, и в сказании Тамар полюбил злой дух. В первом случае это — Демон, во втором — дэви.

И в «Демоне», и в сказании Тамар гибнет после поцелуя злого духа. Только у Лермонтова между Тамарой и Демоном существует непосредственная живая связь, они любят друг друга. В сказании же имеет место только односторонняя любовь — Тамар даже не видит дэви. Он ее целует, когда она спит.

В «Демоне» любовь к Тамаре облагораживает злого духа. И в сказании дэви, покоренный Тамар, становится добрее, он горько оплакивает ее смерть.

Все это, несомненно, говорит о сходстве «Демона» и грузинского сказания.

Не случайно, видимо, у известного режиссера Н. Боголюбова в 1913 году возникла идея поставить оперу Рубинштейна «Демон» в Дарьяльском ущелье, в селении Гергети. По словам Н. Боголю-

бова, именно там, «где у Лермонтова родилась идея поэмы» (вернее, ее новая редакция). В связи с этим замыслом Н. Боголюбов приехал в Тбилиси и имел беседу с дирекцией тбилисской оперы; Иванэ Палиашвили дал согласие дирижировать оркестром в Дарьяльском ущелье. Жители Гергети должны были принять участие в постановке. Зрителей на это грандиозное представление предполагалось пригласить со всех уголков земного шара. Осуществлению этого грандиозного мероприятия, надо полагать, помешала первая мировая война.

Сведения о намечавшемся представлении сохранила как русская, так и грузинская пресса.

Возникает вопрос, может ли «Сказание о дэви и Тамар» быть навеянным «Демоном» Лермонтова? Конечно, нет. По своему основному сюжетному развитию оно ближе к тому варианту легенды, который был опубликован в 1850 году в газете «Кавказ» и, по мнению профессора Висковатова и других исследователей, положен в основу «Демона». Помимо этого, «Сказание о дэви и Тамар», имеющее и самостоятельное художественное значение, содержит эпизоды, которые ближе к легенде, опубликованной в газете «Кавказ», чем к «Демону» Лермонтова.

Все выше сказанное позволяет предполагать, что во время своего пребывания на Кавказе Лермонтов записал именно «Сказание о дэви и Тамар» и на его основе изменил задуманный им сюжет поэмы «Демон».



Меги БАРАМИДЗЕ

Илья Чавчавадзе — переводчик Лермонтова

Имя великого русского поэта М. Ю. Лермонтова приобрело широкую популярность в Грузии еще в середине XIX века, тогда же, когда его произведения с восторгом читала вся передовая Россия. Стихи Лермонтова любил и заучивал наизусть Николоз Бараташвили. Первое произведение, которое напечатал Акакий Церетели, было переводом лермонтовской «Ветки Палестины»; Важа Пшавела восхищался великолепным поэтическим мастерством Лермонтова и любовно перевел поэму «Демон». В XIX веке в Грузии почти не осталось поэта, который не пытался бы перевести то или иное произведение Лермонтова на родной язык.

Страстным поклонником творчества М. Ю. Лермонтова был классик грузинской литературы Илья Чавчавадзе.

И. Чавчавадзе явился одним из первых, кто правильно понял значение русской прогрессивной культуры для духовного развития грузинского народа. На протяжении всей своей многогранной и неутомимой деятельности он всегда с большим энтузиазмом и любовью пропагандировал передовую русскую культуру и утверждал, что «...изучение и знание для нас русской литературы обязательно»... И. Чавчавадзе знал, что новая грузинская литература, стремившаяся охватить все многообразие жизни, нарисовать широкую картину социальных сдвигов, характерных для XIX века, опирается на большой опыт русской литературы. «Русская литература безусловно оказала большое влияние на путь нашего развития, оказала большое воздействие на все то, что составляет нашу духовную силу, наше сознание, нашу мысль. Она

наложила свой отпечаток на наши чувства и направление в целом. Нет среди нас сегодня ни одного деятеля на поприще литературы или общественной жизни, не испытавшего на себе воздействия русской литературы. И не удивительно: русская школа — наука открыла нам врата просвещения и русская же литература питала и направляла нашу мысль на путь движения. Каждый из нас, желая от того или нет, должен был припасть к этим двум источникам, дабы утолить духовную жажду свою... Поэтому мы имеем полное право сказать, что каждого из нас взрастила русская литература, каждый из нас на опыте ее обосновал свои убеждения. И предмет на поприще своей общественной деятельности выбрал согласно выводам ее», — писал И. Чавчавадзе.

Сам И. Чавчавадзе глубоко воспринимал все передовое, прогрессивное в русской общественной мысли и всей душой полюбил Россию Пушкина, Лермонтова, Белинского, Чернышевского, научился не смешивать ее с Россией тупых вельмож, кровавой реакции и жалкого рабства.

И не мог он не полюбить страстную, мужественную поэзию М. Ю. Лермонтова.

У Лермонтова и Чавчавадзе очень во многом взгляды совпадали, возникало одинаковое отношение к целому ряду явлений. С одинаковых позиций смотрели они и на назначение поэта. Для Чавчавадзе, как и для Лермонтова, поэт — избранник, призванный бескорыстно и неутомимо служить своему народу. Не случайно И. Чавчавадзе перевел «Пророк» Лермонтова. Этот перевод сразу

завоевал большую популярность среди грузинских читателей. Сохранилось множество списков его. На протяжении почти полувека он считался лучшим переводом этого лермонтовского стихотворения.

Кроме «Пророка», Илья Чавчавадзе с большим поэтическим мастерством перевел и другие произведения Лермонтова — «Утес», «Сон», «Хаджи Абрек», «Мцыри» и т. д. Великий грузинский поэт с большой ответственностью относился к работе над переводами стихотворений любимого поэта. Он часто возвращался к ним, отшлифовывая отдельные строки, чтобы произведение ни в чем не утратило художественной ценности оригинала. Благодаря большому художественному чутью И. Чавчавадзе и необычайной требовательности к себе его переводы по сей день не утратили своего значения. Не искажая ни смысла, ни образной системы переводимой поэмы или стихотворения, сохраняя поэтическое своеобразие Лермонтова; точно придерживаясь его ритма стихов, не нарушая размера и системы рифмовки, Чавчавадзе не копировал слепо, не попадал в плен бескрылому буквализму, а создавал стихотворение, которое звучало как образец подлинной грузинской поэзии.

С большим уважением относясь к поэтической речи Лермонтова, И. Чавчавадзе старался ни в чем не исказить ее. Над переводами он работал много и упорно. Существует, например, три варианта перевода поэмы «Хаджи Абрек». Первый был закончен в 1859 году. С некоторыми изменениями его напечатали год спустя в журнале «Цискари». Перевод этот подвергся резкой, хотя и не объективной критике, со стороны Г. Баратова. Несмотря на то, что критик высказал много несправедливых суждений о переводе И. Чавчавадзе, он все же верно подметил некоторые неудачные места и впоследствии поэт переработал их. Третий, уже окончательный вариант перевода вышел в 1892 году в издании «Грузинского издательского товарищества».

Если мы сравним перевод И. Чавчавадзе с «Хаджи Абреком» Лермонтова, то увидим, что переводчик постарался сохранить не только ритм, но и словарь поэмы. Однако, как ни старался Чавчавадзе быть предельно верным оригиналу, он иногда все же вынужден был отойти от него, ввести новые слова, добавить и даже изменить целые строки. В этом и проявилось подлинное мастерство Чавчавадзе-переводчика, ибо перевод от этого не только не отдалился от оригинала, а, наоборот, стал более адекватным выражением творения Лермонтова на грузинском языке.

Возьмем одну строку из «Хаджи Абрека»: «Слезай с походного коня». Пере-

вести на грузинский язык слово «походный» — трудно, и Чавчавадзе заменяет его словом «усталый»: „რბილი ჯინსი მგ ღაღღო ცხენზე?“ («Почему ты сидишь на этом усталом коне?»). В этом вопросе содержится и просьба, чтобы Хаджи Абрек слез с коня, и указание на то, что герой много времени не покидал седла. Поэтому слово «усталый» в данном случае представляется мне удачной заменой.

Прекрасно зная обычаи горцев, Чавчавадзе не останавливался и перед собственной интерпретацией целых строк, если это способствовало улучшению качества перевода. Например, строки:

Но месть и ненависть свою
Он завещал мне, умирая, —

в переводе И. Чавчавадзе звучат так:

როცა კვლავობა, მავიცა ძმობა,
მერეთ თვის სისხლი და თვისი მტრობა
მე მიანდერბა...

Здесь на редкость удачно выведены слова: «მავიცა ძმობა», означающие «заставил поклясться братством», которые точно указывают на один из самых распространенных обычаев горцев — обычай побратимства.

Хотя И. Чавчавадзе и бывал вынужден вводить в ткань переводимой поэмы новые слова, обороты, выражения, целые строки, он очень последовательно добивался, чтобы оригинал ничего не утратил в переводе. Можно просто перечислить те случаи, когда переводчиком, опущены отдельные слова. Например, у Лермонтова мы читаем: «стоит внимательный кружок». Чавчавадзе же переводит: „ქვემოთ ხალხი დგას მთის ძირსა“. Слово «внимательный» выпало из перевода отнюдь не потому, что трудно было найти для него грузинский эквивалент, а чтобы облегчить строку, так как на грузинском языке она выглядела бы сложной, громоздкой.

У Лермонтова:

Отяготел твой ясный взор,
Покрывшись влагою жемчужной,
В твоих глазах, как метеор,
Играет пламя крови южной.

Чавчавадзе опустил сравнение «как метеор», ибо в грузинском языке оно воспринимается как сухой, научный термин, который прозвучал бы грубым диссонансом в этих лирических строках.

Очень интересны наблюдения профессора А. И. Чхеидзе над приемами перевода И. Чавчавадзе. Например, в «Хад-

жи Абреке» он изменил следующие строки:

Одежда их была богата,
Башлык их шапки покрывал.

На грузинском языке они звучали следующим образом: «მდიდარი იყო საცმე-ლი მათი, მათს თოფ-იარაღს ბევრი არ სჭობდა» («Одежда их была богата, их оружие было одним из лучших»). Совершенно справедливо замечание исследователя, что при описании горцев, особенно же их богатства, не должно быть забыто их оружие: ибо богатое оружие гораздо более характерно для них, чем башлык. Здесь же отметим, что сначала Чавчавадзе точно перевел вышеприведенные строки и только лишь спустя 32 года, при втором издании перевода в 1892 году, внес эту мастерскую поправку.

Мы видим, что Чавчавадзе иногда допускает дополнения и даже исправления лермонтовского текста. Однако изменения эти продиктованы самой сущностью поэзии Лермонтова. Например, в поэме «Мцыри» у Лермонтова:

Уже хотел во цвете лет
Изречь монашеский обет,
Как вдруг однажды он исчез
Осенней ночью. Темный лес
Тянулся по горам кругом.

Чавчавадзе перевел эту строку следующим образом:

ღა როცა უნდა ვერ ქვეყნის უცნობს
სამონაზნო აღთქმა მიეცა,
გაეცქა იგი თვის საპყრობილოს
ერთ შემოღგომის წყვლიად ღამეში
ღა ლაიკარგა დაბურულ ტყეში.

Без сомнения, поправки, внесенные в текст переводчиком, глубже раскрывают характер героя. Если у Лермонтова Мцыри хотел «изречь монашеский обет», то Чавчавадзе подчеркнул, что юноша вынужден был постричься в монахи («უნდა აღთქმა მიეცა»). Тут же Чавчавадзе ввел слово საპყრობილე (тюрьма), что еще раз усилило мысль о насильственном пребывании Мцыри в стенах монастыря.

Вообще, Чавчавадзе старается всегда подчеркнуть те обстоятельства, что Мцыри чувствует себя в монастыре рабом, узником, и не перестает мечтать о свободе. Поэтому, когда Лермонтов говорит, что ребенок к плену «привык», Чавчавадзе, наоборот, утверждает, что Мцыри не привык к плену, а вынужден был покориться: „მერეთ ემონა ტყვეობას ისა“.

Примеров такого творческого отношения к переводам произведений Лермонтова у Илья Чавчавадзе много и все они не «поправляют» его, а вытекают из художественной сущности его творче-

ства. Только в одном случае И. Чавчавадзе позволил себе своеобразно прокомментировать известные строки из «Мцыри» о благодати и мире, обретенных Грузией «за гранью дружеских штыков», хозяевам которых он иронически желал той же благодати.

Лермонтов просто подчеркнул тот объективный факт, что после воссоединения с Россией Грузия могла жить спокойно, не опасаясь нападения внешних врагов. Эту мысль не раз высказывали и прогрессивные грузинские писатели. Сам И. Чавчавадзе хорошо понимал положительную сторону воссоединения Грузии с Россией. В статье «Сто лет назад» он писал: «Обессиленная Грузия, лишившаяся со смертью Ираклия «железных врат», оказалась совершенно открытой и доступной для врагов, сомкнувшихся вокруг нее тесным кольцом. Как занесенные для смертельного удара обнаженные сабли, нависли над потерпевшей поражение Грузией с одной стороны Персия, а с другой Турция, слышавшие угрозу за угрозы... Оба эти государства смотрели на Грузию, как на лакомый для себя кусочек».

И когда воссоединение Грузии с Россией осуществилось — «...радость спасения и надежды везде широко раскрыли свои крылья. Уже давно Грузия не видела такого славного дня. Сердца всех, от мала до велика, у женщин и мужчин наполнились заветной надеждой, что приход русских войск в Грузию даст ей тот покой, защиту и покровительство, ту счастливую и тихую внутреннюю жизнь, за которую сыны Грузии на протяжении веков боролись героически и самоотверженно, щедро орошая своей кровью каждый уголок своей страны. С этого памятного дня Грузия обрела покой. Покровительство единоговерного великого народа рассеяло вечный страх перед неутомимыми врагами. Утихомирилась давно уже не видевшая покоя, усталая страна, отдохнула, от разорения и опустошения, от вечных войн и борьбы».

Как видим, Илья Чавчавадзе прекрасно понимал прогрессивное значение воссоединения Грузии с Россией и жизненную необходимость этого факта для его многострадальной родины. Так что, нам кажется, он не столько «исправлял» Лермонтова, сколько считал нужным подчеркнуть и существование оборотной стороны медали: как писатель, чья жизнь и творчество были посвящены борьбе против национальной политики русского царизма, как поэт, который всегда боролся за сохранение национального лица Грузии, он сознательно полемизировал с Лермонтовым, помня о грубых попытках ставленников царизма сделать инородцев верноподданными России путем их полного обрусения. Чавчавадзе хорошо понимал, что сохранение

физического существования для Грузии есть великое благо, но это еще не все: надо было сохранить и самостоятельность духа, не поддаться вероломной политике русского царизма, смотревшего на Кавказ как на теплую Сибирь или Российскую Индию, стремившегося превратить свободолюбивый народ в послушного раба. Этим и были вызваны иронические чавчавадзевские строки, включенные в поэму Лермонтова.

Перевод «Мцыри» И. Чавчавадзе не успел закончить: им переведены только первые четыре главы поэмы. Не довелось ему, к сожалению, осуществить и перевод «Демона», из которого он успел перевести только первую строфу.

Не удивительно, что, относясь с искренней любовью к творчеству Лермонтова, Чавчавадзе первым долгом начал переводить на грузинский язык так называемые «кавказские» произведения великого русского поэта; классик грузинской литературы особенно ценил, что в то время, когда народы Кавказа стояли под игом царского самодержавия, русский поэт открыто воспевал их и выражал им свои глубокие симпатии. Тонко чувствуя дух поэзии Лермонтова, Чавчавадзе часто брал для эпитафии к своим произведениям лермонтовские

строки; чувства и мысли русского поэта, выраженные в пламенных и прекрасных стихах, становились главной идеей произведений его великого грузинского собрата. Часто, говоря о русской литературе, Чавчавадзе относил Лермонтова к числу тех славных представителей русского народа, «благодаря которым Европа иначе посмотрела на духовную мощь России...». «Такие люди,—говорил И. Чавчавадзе,—замечательны тем, что, несмотря на определенную национальную принадлежность, они своим творчеством показывают, чем сродни их нации мировой культуре и какую струю вносит она в то большое море, которое называется человечеством; какие сокровища жертвует в ту обитель науки и искусства, которая принадлежит всем и двери которой открыты для всех одинаково, несмотря на национальность».

Как мы уже замечали, М. Ю. Лермонтов был близок и дорог Илье Чавчавадзе и как талантливый поэт, который смотрел на жизнь вдумчиво и глубоко, искренне переживал фальшь и подлость окружавшего его мира, всякого общественного зла, в «железных стихах» которого звучала жажда борьбы против бездумного и лицемерного общества.



Нико БАГРАТИШВИЛИ

В поисках пирсмановских прототипов

Среди работ Нико Пирсманашвили, хранящихся в Музее искусств Грузии, есть одна картина (210×123), выполненная, как и большинство работ художника, на черной клеенке. Она привлекает внимание непосредственностью исполнения, простотой композиции, своеобразной цветовой гаммой. Помимо этого обращает на себя внимание портретность картины. Это подтверждают и подписи, сделанные автором под каждым персонажем: Антимо Каландадзе, Мина Константинович Ситаташвили, Матэ Давидович Гвимрадзе, Нестор Григорьевич Ситаташвили, Гриша Матэвич Гвимрадзе, молодые Каландадзе.

В настоящее время картина известна под названием «Кутеж Гвимрадзе». Хотя в ней и фигурируют двое из семьи Гвимрадзе — один среди пирующих, другой — как мальчик-слуга, название это не совсем оправдано.

Но вернемся к подписям. Сделанные самим художником, сейчас они нам ничего не говорят. Ведь недаром еще К. Маркс писал, что ничего не знает о данном человеке, если знает только, что его зовут Яковом.

Исходя из этого, многие исследователи, глубоко убежденные в том, что прототипов героев, изображенных художником, давно



«Кутеж Гвимрадзе»

нет в живых, не интересуются подобными подписями.

Очевидно, аналогичная участь постигла бы и картину «Кутеж Гвимрадзе», если бы не счастливый и неожиданный случай.



Антимо Каландадзе

Однажды в отдел фондов нового грузинского и советского искусства Музея искусств Грузии вошли две женщины.

— Здесь есть портрет нашего отца, сделанный Пиросманашвили, — сказали они. — Мы бы очень хотели посмотреть его.

Выяснилось, что речь идет о картине «Кутеж Гвимрадзе». Ее показали посетительницам. Указав на одного из изображенных на ней лиц, они заявили, что это их



Мина Константинович Ситаташвили

отец Мина Константинович Ситаташвили. Другой персонаж, по словам сестер Ситаташвили, его дядя — Нестор Григорьевич Ситаташвили. Сестры рассказали также, что их отец, его дядя и Матэ Гвимрадзе держали духан «Рача» неподалеку от вокзала. Антимо Каландадзе снабжал их вином. На стенах духана было много работ Пиросманашвили, в том числе — «Рыбаки», «Выпечка хлеба» и другие.

— Нико был очень честным, любезным человеком. Отец часто приглашал его к нам, — вспоминают сестры Ситаташвили. По их мнению, картина «Кутеж Гвимрадзе» написана художником в 1911—1912 годах с натуры. — Теперь только Гриша Гвимрадзе не похож на себя, но ведь тогда он был ребенком, — говорят сестры.



Матэ Давидович Гвимрадзе

При упоминании имени Гриши Гвимрадзе, мне вспомнилось, как в 1959 году, когда в музее была открыта выставка работ Нико Пиросманашвили, именно у этой картины я встретила человека, который, показав на изображенного на ней мальчика-слугу, сказал, что это он. Я попросила его зайти в музей еще раз. Но он так и не пришел. Зато, как выяснилось, сестер Ситаташвили направил к нам именно он.

Я повидала Григория Матэвича Гвимрадзе, который встречался с Нико Пиросманашвили в 1908—1914 годах, и он тоже под-



Нестор Григорьевич Ситаташвили

твердил, что художник работал над картиной «Кутеж Гвимрадзе» в 1911—1912 годах в духане около вокзала, который принадлежал его отцу — Матэ Давидовичу Гвимрадзе, Мина Константиновичу и Нестору Григорьевичу Ситаташвили. Картина эта, оказывается, долго висела там. Потом Григория Матэевича забрали в армию, а когда он возвратился домой в 1918 году, ему сказали, что ее взяли в музей.

— Пиросманашвили усадил за стол владельцев духана и Антимо Каландадзе, — вспоминает Григорий Матэевич Гвимрадзе, —немного поработал над картиной, а потом продолжал писать ее уже без них. Заметив меня, Нико, видимо, почувствовал, что я тоже хочу попасть в картину, к тому же и взрослые попросили: «Нарисуй мальчонку». Тогда он сказал, чтобы на меня надели белый фартук и дали мне в руки блюдо с рыбой.

По утверждению Григория Гвимрадзе, Нико Пиросманашвили, живший тогда на теперешней Советской улице, высокий, с красивыми черными усами, часто бывал у них в духане; здесь он имел специально ему отведенный закуток, где рисовал картины, которые ему заказывали.

Так им был выполнен для Гвимрадзе портрет царицы Тamar и «Праздник на реке Цхенис-Цкали». Сцены охоты на медведя и зайцев, дом справа, олень и собака изо-

бражены на этом полотне по просьбе Гриши Гвимрадзе.

— Часто, — вспоминает он, — художник говорил, что хочет нарисовать церковный праздник «Мцхетоба».

По словам Г. Гвимрадзе, владельцы духана хорошо платили Нико за его картины. За «Кутеж Гвимрадзе», например, они заплатили 30 рублей. Эту сумму Пиросманашвили сам приписал на картине справа.

Гриша Гвимрадзе, которому сейчас 66 лет (живет он в Тбилиси, в доме № 18 по улице В. Стурра), по-тог нам повидаться с сыном Мина Ситаташвили — Николаем, подтвердившим, что Нико Пиросманашвили был близко знаком с владельцами духана «Рача». Николай рассказал, что Нико часто бывал и в семье Ситаташвили. От других гостей он отличался европейской одеждой, был скромен и любезен.

О близком знакомстве художника с семьей Ситаташвили свидетельствует и сохранившаяся по сей день картина Пиросманашвили «Охота и Черное море», на которой рукой Нико по-русски написано: «Заказчик Мина Ситаташвили. Нико Пиросманашвили».

Н. Ситаташвили любезно предложил нам фото своего отца, скончавшегося в 1916 году.

А у Исидора Ситаташвили нам удалось обнаружить портрет его отца — Нестора Ситаташвили.

Теперь оставалось найти Антимо Каландадзе и «молодых Каландадзе». Но тут многое было туманно. По дошедшим до нас сведениям, Антимо был родом из селения Дзирули, а «молодые Каландадзе» приходились ему не детьми, а племянниками. К тому же неизвестно, живы ли они сейчас.

Попав однажды на станцию Дзирули, мы заинтересовались у одного пожилого железнодорожника, был ли здесь такой видодел Антимо Каландадзе. Оказалось, что



Гриша Матэевич Гвимрадзе

был, но жил он не в Дзирули, а в селении Хорити и сейчас его уже нет в живых; здесь живет его сын Константин.

И вот мы у него в гостях. Константин, которому теперь 62 года, — один из «молдых Каландадзе», изображенных на картине «Кутеж Гвирадзе». Другой — его брат Давид, умерший в 1932 году. Братья — близнецы, они были похожи друг на друга как две капли воды.

Константин сообщил, что у его отца было одиннадцать детей. Сейчас живы семеро; четверо из них живут в Тбилиси.

Повстречались мы и с дочерью Антимо Каландадзе — Терезией Каландадзе-Мачавариани и Кристиной Каландадзе-Банетишвили, проживающими в Тбилиси.

Выяснилось, что Антимо был довольно зажиточным крестьянином. Умер он в 1934 году. Мина же Ситаташвили — крестный отец одного из детей Антимо. Вместе с Гвирадзе Мина часто бывал в деревне у Антимо.



Константин
Каландадзе

Когда мы спросили Терезию и Кристину, знают ли они о том, что Антимо изображен на одной из картин Нико Пиросманашвили, они вспомнили, что отец говорил им однажды об этом — мол, один художник рисовал его, картина не пропадет и после его смерти, наверное, ее, увидят.

Мы показали сестрам фото картины «Кутеж Гвирадзе». Они сейчас же узнали на ней своего отца и, что особенно интересно, знакомые места. В памяти сразу всплыли слова Гриши Гвирадзе о том, что Антимо Каландадзе очень любил Нико Пиросманашвили и не раз приглашал его к себе в деревню. — Во всяком случае, — говорил он, — я твердо помню, что однажды Нико действительно был у него.

По словам дочерей А. Каландадзе, у него бывало множество гостей. Правда, сестры не могут сейчас вспомнить, был ли среди них Пиросманашвили. Но в то время, когда он работал над картиной «Кутеж

Гвирадзе», близнецов — Константина и Давида Каландадзе в Тбилиси не было, Антимо дал Нико их фотографии, с которых он их и нарисовал.

Чтобы еще раз убедиться в достоверности всех этих сведений, мы показали фото картины людям, близко знавшим Пиросманашвили, — Акакию Авалиани и Ивану Чичинадзе. Они точно узнали всех, изображенных на полотне.

И. Чичинадзе рассказал о том, что Нико готовил краски сам, что у него было мало кистей и он часто во время работы рисовал прямо пальцами, подправляя кое-что мизинцем. Поэтому руки у него всегда бывали в краске и он вытирал их платком.

Как говорит А. Авалиани, Пиросманашвили вначале рисовал не очень хорошо, и лишь позже он, по его словам, «набил руку».

Так подтвердилась достоверность имен лиц, изображенных на картине «Кутеж Гвирадзе». Кроме того, удалось точно установить, что нарисована она в 1911—1912 годах, а не в 1895—1903 годах, как предполагалось до сих пор.

Говоря о прототипах «Кутежа Гвирадзе», следует отметить, что у Пиросманашвили немало еще картин, на которых он подписывал имена и фамилии изображенных им людей. Очевидно, за ними тоже стоят реально существовавшие люди. Найти их и убедиться в их достоверности — дело увлекательное и нужное. Обнадеживающий пример тому — увенчавшиеся успехом поиски прототипов картины «Кутеж Гвирадзе».

Подобные поиски помогут глубже вникнуть в творческий метод этого своеобразного художника.

История его картины «Кутеж Гвирадзе» в этом отношении глубоко поучительна. Она наглядно показывает, что за присущими произведениям Н. Пиросманашвили наивностью и непосредственностью скрываются глубокая народность, виртуозность и мастерство художника, добывающегося манерой письма и скудными средствами передачи большого портретного сходства изображаемых лиц, максимума выразительности и индивидуальности исполнения. А это куда больше, чем примитивизм, который часто без достаточного обоснования, а иногда совершенно ошибочно приписывается этому подлинно самобытному художнику.



Гюльнара ДЖАПАРИДЗЕ

Снова о подлинной фамилии художника

Выдающийся грузинский художник-самоучка Нико Пиросманашвили после того, как его «обнаружили» в 1912 году, часто упоминается под именем Пиросманишвили или просто Пиросмани.

Это обстоятельство еще в 1930 году привлекло внимание искусствоведа Бено Гордизиани, который в своей рассчитанной на массового читателя брошюре «Нико Пиросманишвили или Пиросманашвили» посвятил этому вопросу. Правда, автор брошюры категорически выступал против искажения фамилии художника, последняя не только в художественной литературе, но и в искусствоведении не приобрела стабильного характера, сокращенная же форма ее — Пиросмани укоренилась в народе и шагнула далеко за пределы Грузии.

Хотя после опубликования в газете «Литературиლი Сакартвелო» (от 1 ноября 1964 г.) «Призыва-объявления» уважить память большого художника и употреблять только полную и правильную форму его фамилии, вопрос этот, казалось можно было бы считать исчерпанным, нам все же хочется продолжить разговор на эту тему.

Своеобразно и удивительно сложилась судьба Пиросмани. Художника, в конце XIX столетия возродившего как бы дремавшие традиции грузинского народного живописного творчества, художника, подобно неизвестным мастерам грузинской портретной живописи XVIII—XIX веков, заговорившего в своих творениях чисто «побиллиски», — не заметишь.

«Примитивно» выполненные им картины воспринимались как неотъемлемая декоративно-прикладная часть духанов и винных погребков (тем более, что роспись стен в них производилась и ранее), и мало кто ви-

дел в нем художника, ашуга-летописца, правдиво и искренне воспевавшего родные края и родной город.

А между тем, казалось бы, к тому времени уже немало внимания уделялось народному творчеству, и многие из собирателей фольклора в поисках не только тех или иных народных стихов и сказаний, а даже их различных вариантов исходили Грузию вдоль и поперек.

Что же мешало «увидеть» Пиросмани?

Очевидно, прежде всего — окружение, своеобразный круг его «меценатов» — владельцев духанов и погребков; беднота, обитавшая бок о бок с ним в кривых и узких улочках старого Тбилиси, хорошо знавшая и по-своему ценившая художника Никола (прозванного «графом» за его болезненное самолюбие).

Из этого окружения трудно было вырваться Нико Пиросмани. Но, с другой стороны, в условиях царской России он вряд ли мог существовать вне этого окружения, оторвавшись от которого, художник как творец превратился бы в обыкновенного, изолированного от народа художника.

Мешал «увидеть» Пиросмани, наверное, еще и так называемый «академизм» передовых деятелей культуры, видевших в его творчестве больше нарушений общепринятых художественных канонов, чем ту сердечность и новизну, которыми художник так щедро одаривал свои произведения. Но это не упрек в адрес современников художника, а закономерное явление той эпохи.

В 1912 году, наконец, «обнаружили» Пиросмани, «обнаружили» на склоне его жизни, уже уставшего и изнуренного постоянной нуждой.

Но вполне естественно, что Пиросмани, вконец разочарованного в своей судьбе, согрело и обрадовало поздно пришедшее к нему признание. Поэтому-то в 1916 году он и поселил, по приглашению, Общество художников и редакции газеты «Сахалхо

пурцели». Последняя, помимо небольших сведений о художнике, в своем еженедельном «Иллюстрированном приложении» (от 19 июня за № 109) поместила фото художника и репродукцию его картины «Свадьба в деревне». И кто знает, как сложилась бы дальнейшая судьба художника, если бы не карикатура с издательским текстом под ней, помещенная вслед за этим в том же «Иллюстрированном приложении». Художник был изображен старцем с птичьими лапами вместо ног, с палитрой в руке, писавшим теперь хорошо известную картину «Жираф».

Самолюбие глубоко уязвленной простой души человека заставило его окончательно отвернуться от «лицемерного» общества. Он уже не верил в его искренность, а художники не сумели в свое время оказать ему поддержки.

Возможно, насмешка эта смутила и заставила отвернуться некоторых, но были и такие (как отмечал художник Мосе Тондзе в своем письме об однодневной выставке Пиросмани, устроенной К. Зданевичем на своей квартире в 1916 году), которые считали произведения художника и его выставку недостойными внимания, смехотворными и даже «оскорбляющими искусство».

В такой напряженной обстановке и погиб художник в 1918 году, унеся с собой не одну неразгаданную тайну своей жизни и творчества.

Заслуживает внимания тот факт, что «открыть» Нико Пиросмани выпало на долю приехавших в Тбилиси из Петрограда студентов — художника-француза Михаила Ле Дантю и братьев Зданевич — поэта Ильи и художника Кирилла. По словам последнего («Нико Пиросманишвили». Сабчота Сакартвело, 1936 г.), увлеченные «национальным народным творчеством», они и в Грузии искали «всевозможные его проявления». Заслуживает внимания потому, что упомянутые лица были близки к кругу поэтов и художников, увлеченных распротраненным в те годы на Западе новым течением в искусстве, стремившихся к примитивизму и в знак протеста против академического искусства старавшихся создать свой «первобытный язык». С этой целью они искали в народе различные рисунки, вывески и другие художественные образцы, которым в отдельных случаях даже формально подражали.

Поэтому не удивительно, что попав в гущу своеобразного колорита Тбилиси, друзья (Ле Дантю, братья Зданевич) рядом с «правдивыми образцами» прикладного искусства грузинских мастеров ожидали найти что-либо еще более «новое».

Ожидания оправдались найденными ими непосредственными, по-детски наивными, но высокохудожественными произведениями Нико Пиросманишвили — художника-самоучки.

К чести молодых открывателей Пиросма-

ни, надо сказать, что их привлекла не только «необыкновенность» и «оригинальность» искусства этого художника; они почувствовали и его органическую связь с бытом и жизнью Тбилиси и сумели оценить по достоинству силу выразительности его художественных произведений. Это частично и послужило поводом, что они стали первыми собирателями произведений Пиросманишвили, не боясь трудностей, связанных с популяризацией его картин.

Но, как уже было сказано, с первых же дней «открытия» Пиросмани получил признание преимущественно в среде сторонников так называемого левого направления в искусстве. И даже после установления Советской власти в Грузии, когда по достоинству было оценено творчество художника, была подготовлена и издана монография (в 1926 г.) о нем (вернее, сборник отдельных статей о художнике), это дело в основном возглавляли бывшие «голубороговцы» и футуристы.

Это не могло не оказать влияния на сложившееся к тому времени общественное мнение о Пиросмани. И хотя отдельные лица, среди них Мосе Тондзе, Тициан Табидзе, Кирилл Зданевич и другие уже называли его народным художником, были и такие, которые или не признавали его, как не получившего образования и не заслуживающего внимания незрелого мастера-примитива, или же причисляли художника к модернистам и примитивистам. При этом не учитывалось, что художники-модернисты в подражании образцам архаического искусства и «примитивов» преднамеренно и сознательно упрощали рисунок, а Пиросманишвили, как и все воспитанные на народных традициях художники (часто называемые в литературе «наивными»), от природы был наделен непосредственностью, реалистическим художественным видением и достигал целостности изображения скупыми, лаконичными средствами, что не поддается подражательству.

Справедливость требует отметить, что вышеуказанное «родство» Пиросмани с «левыми» художниками сыграло положительную роль — оно способствовало его «обнаружению» и тем самым сохранению многих его полотен.

Фамилия художника в сокращенной форме — Пиросмани — звучала более красиво и импонировала представителям «левых» течений в искусстве (главным образом работавших о благозвучии слов и менявших обычные фамилии на более звучные, даже заново придуманные). Очевидно, их и имел в виду Б. Гордзиани в своей книге, приписывая изменение фамилии художника людям, большим «фонетическим эстетизмом слова». По мнению Б. Гордзиани, не нравившаяся им «крестьянская» фамилия Пиросманишвили была якобы переделана на «княжескую» Пиросманишвили, а в отдельных случаях даже на Пиросмани.

Возможно, автор этих слов сегодня, как

и мы, приняв во внимание лингвистическую особенность артикуляции языка, уже не стал бы утверждать подобного, исходя хотя бы из наблюдения, что легче произносится Пиросманишвили, чем Пиросманашвили. Но поскольку и по сей день вокруг этого вопроса все еще существуют различные мнения, хотелось бы остановиться на некоторых фактических данных, на которые до сегодняшнего дня многие, в том числе и авторы «Призыва-объявления», не обратили внимания.

Многие, наверно, помнят выражающую социальное неравенство картину Пиросмани «Бездетный миллионер и бедная с детьми». Но, думается, далеко не все из них обратили внимание на подпись художника «Пиросман». Достаточно знакомое и легко произносимое в сокращенном виде «имя» художника, близкое как Саят-Нова, Хазира и другие, видимо, не было чуждо ни для заказчика (если таковой был), ни для тех, кто изображен на картине.

К сожалению, для поэтов и художников, близко стоявших к Пиросмани, вопрос о написании фамилии художника не стоял в порядке дня с самого начала. И хотя в литературе, изданной в годы «открытия» художника, его фамилия и писалась в основном через «а», т. е. Пиросманашвили, художник Кирилл Зданевич, имеющий непосредственное отношение к «открытию» Пиросманашвили, даже в своих недавно изданных о нем монографиях («Нико Пиросманишвили», «Сабоча Сакартвело» и «Нико Пиросмани». «Заря Востока», 1963) избегает почему-то этой формы, а Пиросмани воспринимается им как бесспорное и установленное.

И это вполне понятно, так как еще живы люди, знавшие художника и имевшие с ним близкие взаимоотношения, которые с благоговением произносят его имя — Нико, Никала, Пиросмани и т. д. Среди них И. Кекуадзе — обладатель его картин, на одной из которых («Муша Сосо») четко читается: „ბ. თბილისში“.

Интересный материал дают работы художника (около трехсот работ), в большинстве своем хранящиеся в Государственном Музее искусств Грузии. Почти на ста картинах оказались различные, сделанные рукой художника и соответствующие их содержанию надписи на грузинском, русском и редко армянском языках (иногда же смешанно) и подписи на грузинском и русском языках. Уместно вспомнить, что вторая половина XIX века характеризуется пестротой

населения Тбилиси и что в кругу, в котором вращался Пиросмани, большей частью говорили на упомянутых выше трех языках. Вследствие этого на основе «синтеза» создавался своеобразный тбилисский жаргон, весьма умело использованный драматургами того времени — А. Церетели, Г. Сундукяном, Н. Азиани и другими.

Надписи и в отдельных случаях подписи на картинах содержат ошибки и наряду с архивными материалами, написанными рукой художника, наглядно свидетельствуют о том, что Пиросманашвили не получал классического образования.

Подписи на картинах разнообразны. Художник подписывался полностью и сокращенно. Но интереснее, что основа фамилии — Пиросмана (как в грузинских, так и в русских подписях) выделена или путем особого написания конечных букв фамилии или точкой, стоящей всегда после слова «Пиросмана». Подобные подписи встречаются на таких хорошо известных картинах, как «Актриса Маргарита», «Свинья с поросятами», «Кутеж трех князей» и другие.

На первый взгляд такое неопределенное употребление точки, как разъясняет и профессор И. Абуладзе, не должно быть предиктовано какой-либо системой и, видимо, подсказано целью выделить основу фамилии — Пиросмана (в старых архивных документах мы находим такую форму, когда основа фамилии выделяется дефисом). Это доказывает, что прозвище Пиросмана (как и фамилия художника, в обиходе получающая «и» вместо «а» после основы «Пиросман»), стоящее под сомнением, не только не вымышленное, но, возможно и общепринятое при жизни художника.

Считая, что сокращенная форма «Пиросмана» не умаляет достоинств художника, мы присоединяемся к мнению Л. Авалиани, высказанному им в статье, опубликованной в «Литератури Сакартвело» 22 ноября 1963 года, и возражаем против упрощения из обихода сокращенной формы «Пиросмани», прочно укоренившейся в народе и литературе.

Несмотря на то, что имеются два архивных документа, на которых стоит подпись «Пиросманишвили», все остальные подписи, а также данные переписи 1873 года (по утверждению научного сотрудника Центрального архива Грузинской ССР Г. Гозалишвили) дают нам право писать фамилию художника только через букву «а», т. е. — Пиросманашвили.

Французская пресса о фильме „Белый караван“

На XII международном кинофестивале в Каннах в 1964 году были представлены два советских фильма: «Я шагаю по Москве» и «Белый караван». Эти фильмы были отмечены в зарубежной печати как несомненные творческие удачи молодых советских кинематографистов Г. Данелия, Э. Шенгелая и Т. Мелиава.

Ниже мы приводим выдержки из французских газет о фильме «Белый караван» (Производство «Грузия-фильм»).

Этот прекрасный фильм документален... Все грузинские актеры великолепны...

Газета «Юманите»

Русские доказали, что у них есть замечательная актриса и, кроме того, женщина возвышенной красоты и ума. Ее зовут Ариадна Шенгелая. Во многих местах этот оригинальный советский фильм красив и становится документальным, когда повествует о чабанах, которые гонят стада овец в горы.

Газета «Орор»

Испытываешь чувство очарования, когда начинаешь смотреть этот фильм, который приносит наконец на этот фестиваль немного свежего воздуха. «Белый караван» — не шедевр, но в нем чистые чувства, выраженные очень приятно и с необыкновенным тактом.

Газета «Комба»

...«Белый караван» с большой силой выражает своеобразие пейзажа и людей, здоровый моральный дух немногочисленного народа, его суровую веселость, приятные обычаи. Несколько блеклых и напыщенных сцен портят фильм. Но в целом, он достигает своей цели, и мы не можем оставаться равнодушными к тяжелому, но благородному труду чабана.

Запоминаются сильные, живописные кадры. И нельзя забыть красивое лицо молодой актрисы Ариадны Шенгелая.

Газета «Фигаро»

У фильма «Белый караван», несмотря на замедленность, есть интересные, привлекательные стороны. Вся «пасторальная» часть, изображающая стада овец, идущих вдоль Каспийского моря в горы, представляет собой кадры светлой красоты.

Психология пастухов, сдержанных и мужественных, их повседневный труд, их привычка довольствоваться малым передаются в спокойно-созерцательном ритме. Персонажи «вылеплены» чудесно.

Вся группа чабанов вызывает чувство симпатии. Понятно, что у них своя честь и они клеймят всякого, кто порывает с их правилами. Но можно также понять, что молодой человек, ослепленный огнями города, задыхается в этой оболочке.

Фильм кончается трагически. Товарищи презирают Гелу, как дезертира. Не слишком ли дорого платит Гела за свое «предательство», которое в то же время было его стремлением к свободе? Вопрос остается без ответа, и это придает фильму жизненное величие.

Газета «Провансаль»

Большим достоинством этого фильма является его подлинность, его честность...

Вторая часть фильма — лучше, драматически более собранная. Первая затянута, но режиссеры обладают чувством лиризма в восприятии природы, а пастухи очень симпатичные люди даже в их недостатках.

Газета «Патмот»

Редактор МИХАИЛ МРЕВЛИШВИЛИ

Редакционная коллегия:

**И. АБАШИДЗЕ, Б. ГАСС (ответственный секретарь),
Э. ЕЛИГУЛАШВИЛИ (заместитель редактора), М. ЗЛАТКИН,
А. КУЗЬМИЧЕВ, В. МАЧАВАРИАНИ, Р. ТВАРАДЗЕ, Э. ФЕЙГИН,
Н. ЧАВЧАВАДЗЕ, Д. ШЕНГЕЛАЯ.**

Подписано к печати 28 октября 1964 г. 5 печ. листов
Формат бумаги 70 X 108^{1/8}.

Заказ № 2574

Тираж 2300

УЭ 10470

Цена 40 коп.

Рукописи объемом менее авторского листа не возвращаются

ჟურნალი „ლიტერატურნაია გრუზია“

(რუსულ ენაზე)

საქართველოს მწერალთა კავშირის გამომცემლობა „ლიტერატურა და ხელოვნება“

Типография издательства ЦК КП Грузии «Заря Востока» им. А. Ф. Мясникова,
Тбилиси, проспект Руставели, 42.

С... типография издательства ЦК КП Грузии «Коммунисти»—ул. Ленина, 14.

Цена 40 коп.

ИНДЕКС
76117



ქართული
ენციკლოპედია
საქართველოს
ეროვნული
ბიბლიოთეკა